БАР. ЛЮДМИЛА ВРАНГЕЛЬ

ВОСПОМИНАНИЯ
И
СТАРОДАВНИЕ ВРЕМЕНА



БАР. ЛЮДМИЛА ВРАНГЕЛЬ

ВОСПОМИНАНИЯ
И
СТАРОДАВНИЕ ВРЕМЕНА



Издательство книжного магазина Victor Kamkin, Inc.
Вашингтон 1964

Оптово-розничное русское книжное дело
в США

Victor Kamkin, Inc.
Bookstores

1410 Columbia Road, N.W.
Washington, D.C., 20 009

Fremdsprachendruckerei Dr. Peter Belej, München 13

Моим детям — сыну и дочери
посвящаю



ВОСПОМИНАНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

I

На Волге

Издревле русский народ любит и воспевает свои реки: «Волгу матушку», «тихий Дон», «Днепр широкий»; по ним он плыл к теплому синему морю, к полуденным берегам, и не любил он дремучих лесов, где ни пешему, ни проезжему выхода нет, где живет соловей-разбойник, леший, и где «пропадает» человек . . . Чудесны эти глухие степные и лесные пространства огромного Волжского бассейна; еще так недавно с безлюдными притоками-реками, с городами и селами, жившими в сонной дремоте, они рождали богатырей, людей огромного размаха, с неиспользованой энергией. Эти самородки — «Волгари» — послужили неисчерпаемым материалом для русских писателей.

Во второй половине прошлого века, отчасти с открытием новых источников нефти на Кавказе, волжская жизнь сразу сдвинулась с мертвой точки, она встряхнулась от вековой дремоты и в несколько десятилетий перегнала развитием своего судоходства весь мир! В 1860 году на Волге и ее притоках было всего около 200 пароходов, а в 1912 году уже 2300!

Керосиновая лампа, этот светоч просвещения, заменила в крестьянской избе ее вековечную лучину. Волга ожила, страна росла, росли с ней и люди. Настала пора стихийного строительства, вырастало всемогущее

волжское купечество мукомолов, судостроителей, и первый в мире теплоход с дизель-мотором был построен на Волге.

Так появились гремевшие по всей России имена Мещеряковых, Черновых, Бугрова, Блинова, Башкирова, Булыгина, Каменских, Курбатовых и пр. Мещеряков и Чернов, первые пароходчики, особенно были типичные и красочные «Волгари».

«Гремели когда-то на Волге — рассказывает мой отец — купцы Мещеряковы, хлебом торговали, и большой их караван судов по Волге плавал, и цены на хлеб они ставили. Люди были богобоязненные, жертвователи, строители. Но случилась холера на Волге — в один день и отец и мать померли. Остались сироты, — две дочки, невестились уже, да сын Иванушка, — в дело уже входил, на судах бегал! Похоронивши родителей, — шибко горевали, — собрались они и стали думать, как им жить, и порешили уйти от мира. Имения расписали по богадельням, по церквям да монастырям, бедным людям роздали. Сестры в дальние монастыри поступили, а брат Иванушка надел котомочку и ушел из города с батожком. Через пятнадцять лет опять объявился в Нижнем, встал на паперти нищим, и вот собирает милостыню уже сорок лет, — подают ему, не как другим, — и раздает все вдовам, немощным, сиротам, беднота-то его знает».

Давняя пациентка моего отца (врача и писателя С. Я. Елпатьевского), Анфиса Дмитриевна, нижегородская мещанка, разбогатев, купила себе дом — старый, престарый, бывший Мещеряковых; старожилы говорили, — Иван Грозный в нем останавливался, как ходил Казань воевать, — двухэтажный, каменный, окна узенькие, как бойницы, и потолки низкие со сводами, как в церкви. «В этом старом доме, — рассказывает отец, — я и познакомился с Иванушкой. Приходит после новоселья ко мне Анфиса Дмитриевна, веселая, и гово-

рит: «Божье благословение в дом пришло... Иванушка теперь у меня живет. Ведь лет десять все Иванушку уманивала. Сколько на это охотников было, — богатых... А не шел к богатым-то. Все у самой бедноты жил, — в скудости, где болящие, где сироты. Ведь вы не знаете, сколько сирот вспоил-вскормил Иванушка!» А дня через три опять пришла, встревоженная. — «Приезжайте! Заболел Иванушка-то, в обмороке лежит перед образами, должно быть, молился. — И вериги на нем оказались. — И на ногах раны большие».

Поднимался я по лестнице, скрипучей, со старыми стертыми ступеньками в маленькую комнатку, «мизиминчик» Иванушки. Видно было, что Иванушка не всё раздал — дедовское Божье благословение сохранил, передний угол и две стены были сплошь заняты старыми образами, в серебряных и жемчужных ризах, откуда чуть видны были темные лики старинного письма. И целые груды книг на столе, старинные, с толстыми, разбухшими, закапанными воском страницами — в кожаных и деревянных переплетах.

Должно быть, Иванушка крупный был, а только сгорбился и ссохся весь, как бывает со стариками за семьдесят лет. Бородка седенькая, мелкие морщинки, как паутинки разбрелись по лицу. Только глаза молодые, как голубенькие цветочки, и ясные, ясные... Стал сердце слушать, — старое сердце, слабое, побьется-побьется и остановится, а потом опять бьется.

— Полечи ты меня, Сереженька! — говорит он мне А потом взял руками мою голову и целует. Смотрю я на него, а он жалостно улыбается и тихо говорит мне:

— Господу помолиться еще хочется. Светик Божий поглядеть!

Утешаю, говорю:

— Бог милостив, только полежать надо, и вот, чтобы тут не терло, — указываю на раны от вериг.

Наклонил голову, молчит.

— Да, говорю, травки вам дам, заваривайте в чайнике и пейте через два часа по рюмочке. Легче будет.

Очень обрадовался Иванушка.

— Вот, вот, о травке-то я и думал . . .

Присел я к столику у окошка, разделяю травку — adonis vernalis — на пакетики на неделю . . . Обернулся я, — прислонился Иванушка к стенке, смотрит в окошко и, должно быть, не слышит, что я ему говорю.

А под нами Волга плыла.

Не хотелось мне спугнуть Иванушку, смотрим вместе, и временами кажется, что это мы плывем мимо длинных плотов, белых белян, зеленых берегов в этой комнатке в роде каюты на старых баржах.

Седые волосы совсем закрыли лицо Иванушки, видно только, как шевелятся губы, да дрожит седенькая бородка.

— Анфисе Дмитриевне расскажу, — говорю я, — как заваривать травку.

Встрепенулся. Провожал до лестницы и все говорил:

— Христос с тобой! Дай Бог тебе здоровья! Спасет Христос!

Объяснил я Анфисе Дмитриевне, что не очень хорошо Иванушке; рассказал, как нужно раны перевязывать, как лекарство заваривать, и чтобы бутылку молока в день пил.

— Вот хорошо, что про молоко ему сказали . . . Канареечка у меня, — и та больше ест.

И чем только жил Иванушка? . .

Заехал через недельку посмотреть Иванушку, — не застал.

Анфиса Дмитриевна сказала, что ему полегчало, опухоль в ногах сбывать стала, и раны заживаются, и задыхается меньше.

— Разве теперь его удержишь, — говорит. — Ведь у него делов-то в день не переделаеш!..»

Гордей Чернов был совсем другого рода человек: неукротимый, жесткий со служащими, обидчик, он был умён и расточительно щедр в своих предприятиях. Он первый понял значение мазута, наладил его вывоз по Волге на своих многочисленных пароходах, и ему надо было иметь все самое лучшее, хотелось удивить мир, и ему было всё мало.

А отчетности в делах не было никакой. «Зачем мне бухгалтерия?» — говорил он. «В правом кармане у меня банковские расписки, а в левом — копии выданных векселей! Всегда могу баланец установить».

Но когда его грандиозные затеи разрослись так, что «баланец» не сходился, и Гордею Ивановичу грозил крах, он не вынес своей оплошности и позора, — сперва запил, а затем внезапно исчез из Нижнего, поехал на Афон и «вкупился» в монастырь. Но когда его сын расчетливым и экономным ведением дела поправил состояние, Гордей Иванович опять приехал в Нижний, повидал сына, свою Волгу и вернулся обратно на Афон — помирать.

М. Горький описал Гордея Чернова в своей неудачной и бледной повести «Фома Гордеев».

Вятский купец, Булычев, отличный хозяин, прекрасно ведший свое пароходное дело по Вятке, Каме и Волге, давал названия своим пароходам, составлявшие его полный купеческий титул: «Потомственный», «Почетный», «Гражданин», «Филипп», «Булычев».

Он был женат на волжанке — замечательной красавице.

Волна стихийного строительства захлеснула и волжского помещика старинного дворянского рода, Дмитрия Павловича Шипова.

Когда-то в глухих лесах Костромской губернии Шиповский завод отливал колокола.

Дмитрий Павлович преобразовал его в большой судостроительный, чугунолитейный и механический завод с техническим училищем. По словам г. Хегелина, директора Нобелевской нефтяной промышленности, Шипов был смел, богат, умён; желая работать в пользу отечества, он показал, что можно сделать в таком медвежьем углу, как Галичский уезд Костромской губернии, где не было даже железной дороги.

Шипов умел выбирать себе помощников, и его талантливый инженер Цыганов, построивший все пароходы общества «Дружина», создал еще Шиповский завод бумаги и мануфактурную фабрику в Иваново-Вознесенске.

Со смертью Шипова его завод стал хиреть и был поглощен Сормовским заводом.

Волжская промышленность создала и всемирно известную Нижегородскую ярмарку, где каждая отрасль имела свои ряды.

Я девочкой ходила с матерью в мануфактурный ряд, вдыхала с удовольствием памятный мне его особый запах, — мы там покупали шелковистое ярославское полотно, сукна на шубки и платья. Были ряды персидские, где мы на зиму закупили сушеные фрукты. В них продавались также среднеазиатские шелковые фантастические ткани, ковры, бирюза, мерлушки и каракуль.

Далее шли ряды с богатейшими сибирскими мехами.

И наконец — «Главный Дом» с жемчугом, брильянтами, уральскими камнями; там тратились большие деньги на женские украшения . . .

Целый островок на Волге подле ярмарки был занят мочалой, занимавшей большое место в российском хозяйстве.

Иду я в глубоком корридоре среди двух высоких стен сложенной мочалы, душистой липовой мочалы: то нежной, белой, идущей в бани, то погрубее и темной — для кухонь, то кульки, то рогожи.

Сзади шли мои родители с хозяевами мочалы, уфимцами, старыми знакомыми отца по Уфе, знаменитой своими липовыми лесами, медом, мочалой.

Хозяйка — купчиха, одевалась по интеллигентному, в английский костюм и была феноменом: она «в уме» множила и делила самые огромные числа, и ее умственная бухгалтерия была поразительна.

По вечерам, когда уже закрыты «Главный Дом» и лавки, ярмарочная жизнь переносилась на «Самокатскую площадь», где горел своей огненной открытой пастью огромный кафе-шантан «Омон», а поодаль «Самокатские номера» и известный всей ярмарке трактир при них. К «Омону» подъезжають на «своих» и на извозчиках купцы, пароходчики, инженеры и всяческий кутящий люд. Там на эстраде впервые пела еще очень юная Плевицкая свою впоследствии знаменитую песню:

С ярмарки ехал ухарь-купец,
Ухарь-купец — удалой молодец...

И еще трагически пела, сидя на стуле на эстраде, тяжелая, удивительная Варя Панина:

Ночи безумные! В вас схоронила я
Веру в себя, в человека, в прекрасное...

В голубой дымке угарного тумана хлопали пробки, безудержно смеялись и кричали не стесняющиеся люди, а в отдельных кабинетах среди цыганского пения, визжат «арфистки» и ловят «золотые», брошенные в аквариум с рыбками, и «бумажки» летят за их корсажи.

В «Самокатском трактире» песенники во главе со своим атаманом, изображавшим, вероятно, Стеньку Разина, пели о том, как грабили на Волге-матушке деревни, не хотевшие принимать разбойников, а хор «арфисток» горланил: «Ой, разбой, разбой, разбой».

И разбой случился в то лето в Самокатских номерах, о котором писали в «Нижегородском листке».

В одном из номеров приглашенные «арфистки» пели свою песенку:

«Пой, ласточка, пой; дай сердцу покой» и т. д., а в соседнем номере под их горластое пение зарезали и ограбили проезжего купца . . .

Когда была холера на Волге, она особенно свирепствовала на ярмарке, где часто принимала молниеносную форму: идет человек по тротуару и вдруг падает замертво в холерных конвульсиях . . .

И случилось, что к знакомому доктору явилась одна из «арфисток» и попросила его назначить ее сестрой милосердия в холерный барак на ярмарке.

Доктор счел это за рисовку, но сказал: Пожалуйста, — желающих на это немного! «Афристка» начала ухаживать за холерными больными, и доктор не мог достаточно нахвалиться ее работой.

Много было разгула, много и трагичного на ярмарке.

Россия гордилась своей Нижегородской Макарьевской ярмаркой. В своих воспоминаниях Хегелин рассказывает, как привезли на ярмарку Поля Деруледа, поборника франко-русского союза, и как проважало его обратно во Францию именитое нижегородское купечество во главе с губернатором Барановым на нижегородском вокзале.

Опоздавший Гордей Чернов, — высокий, легкий на ходу, с шапкой серебристо-черных волос, быстро подошел к губернатору, сунул ему пакетик с крупным бри-

льянтом и сказал: «Передай это Деруледке. Пусть подарит, когда приедет домой, самой красивой барыне . . .»

*

Мне было семь лет, когда мы жили в деревянном коричневом особняке, выходящем на широкую улицу Нижнего Новгорода. Улица тянулась от площади с острогом до поля у женского монастыря. Около монастыря было кладбище, куда я иногда забегала после полудня, когда все отдыхали, в летние дни; так там было все необычно-таинственно, и было то, чего не было в жизни города: тишина, отчуждение и ненужность всего, что составляло городскую жизнь. Старые деревья бросали тень на древние и свежие могилы, одинаково умиротворенные и грустно-покорные. Кричали галки на верхушках деревьев, и маленькие птички порхали от креста к кресту.

Однажды я сидела у окна моей детской, когда мама ушла в магазины, мадемуазель в отпуск, а брат играл, по обыкновению, «в городки» у соседей. Я любила свое одиночество: никто меня ничего не спрашивал и не распоряжался мной. «Папа уехал, — думала я, — как всегда, по больным . . . Кого сегодня запрягли: Красавчика или Дорогого? Красавчик не дает никому себя обгонять, и им гордится кучер Михайло, а я люблю моего Дорогого. Он гнедой, и глаза у него красивые, и на толстой, блестящей спине хорошенький желобок». . .

Я начинала раскладывать на широкий подоконник свою любимую игру: беленькие камешки, которые пасутся, будто барашки; разноцветные стеклышки, будто цветы и деревья, а в углу на диванчике сидят вырезанные из модного журнала дамы в красивых платьях, с турнюрами и в высоких шляпах: — «а о чем только они говорят?»

Жарко, я облокачиваюсь на подоконнике и, беспредметно задумавшись, поджидаю торговца пареными грушами. В нашем крае груши не росли, а покупать пареные мне было запрещено, но вот уж громыхает тележка по булыжникам, и заунывная песенка несется по пустынной, облитой солнцем улице:

Вот ест продава-ать
Моченые, пареные гру-уши,

напевает торговец.

Дребезжат колеса уже близко, и я, зажав деньги в руке, бегу через сад к калитке.

Темно-коричневые, сочные груши у меня в мешочке. И случилось, что в это время из-за угла нашего дома вышли люди в черных одеждах и пронесли мимо меня гроб.

Я впервые увидела сомкнутое, восковое лицо покойницы, и тоска и жалость сжали мое сердце. «Зачем они несут ее куда-то? Может быть, она этого не хочет? Большие всегда все делают решительно и никогда, никогда не отвечают на то, что мне так ужасно хочется знать». А раньше все было еще непонятнее. Я помнила, как меня поразило яркое сияние весеннего солнца на дворе. Должно быть, это было после сумрачной, комнатной северной зимы. Была оттепель, кругом лежали душистые бревна на постройку и белые щепки, под ними журчал веселый ручеек, а под водосточной трубой стояла голубая лужа и в ней плыли отраженные белые облака. Няня не позволяла играть в ручейке с щепочками, грозила пальцем и говорила: «Вот погоди, не слушаться... Бог тебя камешком убьет», и отводила меня в темную нижнюю кухню... Окна были высоко, и между ними качался большой маятник стенных часов... Мне не верилось, чтобы Бог, живущий в чудесном голубом небе, был жесток. Вероятно, думала я, это нянин Бог,

который, верно, живет в этих темных шипящих часах со страшным маятником.

По ночам меня мучили иногда чертенята. Бывало, проснешься, а они, двое, уже выскакивают в ногах из-под постели, кривляются, дразнят, показывают свои красные язычки, виляя черными хвостиками, с кисточками на концах! Я кричала, звала маму, но мама не верила в чертей, и даже иногда озабоченно мерила мне температуру. Другой, какой-то потусторонний мир еще не давал места реальной жизни.

В Великий пост наша домовладелица, купчиха, взяла впервые меня с собою в церковь при остроге, что стояла на площади.

В арестантской церкви было темно, неуютно, как в тюрьме: арестанты стояли отдельно, за решеткой, откуда шел тяжелый дух . . .

С жалостью смотрела я на их бритые головы, на их лица: серые и однообразные, как их серые халаты, и думала: «Преступники, преступившие дозволенное. В жизни ведь строго наказывается недозволенное. А почему они это сделали? Ведь лучше было-бы им быть, как все, не страдать, не носить эти позорные, звенящие кандалы . . . Вот нашей домовладелице, наверное, хорошо жить в своем богатом каменном доме». . . Она стоит тут, подле меня, с поджатыми губами, не смотря ни на кого, устремив свои впалые глаза, на коричневом равнодушном лице, на иконостас.

И только косые лучи весеннего солнца веселили церковку и освещали синий дым ладана.

Когда кончилась служба и раздался многоголосый радостный звон колоколов в весеннем воздухе, мне показалось, что заколыхались хоругви и иконы, и все святители церкви сами звонят в колокола, и они несутся

вместе со мной вон из церкви, и мы таем высоко в голубом воздухе.

Осенью я поступила в приготовительный класс гимназии. Мой брат был уже в третьем классе классической, увлекался греческим и латинским языками, звал меня sororcula (сестра), что мне напоминало сороку и совсем не нравилось, — и говорил, что девочек древним языкам не учат, потому что они глупы. Если же я смеялась, а это случалось часто, — то брат наставительно мне говорил: «Per risum multum cognoscimus stultum...» (по частому смеху узнают глупца).

Я обижалась: «С какой стати он умнее меня? Просто я другая, не он, но это ничего не значит». И заучивала наизусть мудрёные слова начала гомеровских поэм.

По мнению моего брата девочки вообще никуда не годились. Когда в городе случался пожар, и на каланче над острогом торжественно вывешивался черный шар, и били в набат, полицеймейстер Курило-Сементовский, героем стоя в коляске, на тройке пегих лошадей мчался на пожар. Туда же бежали с толпой и гимназисты. Полицеймейстер очень ценил их помощь, неизменнно давал им бочку с водой и шлангами, гимназисты качали воду, тушили пламя и получали от него благодарность и поощрения: «Молодцы, господа гимназисты, вот спасибо!» Брат приходил домой торжествующий, но мокрый, промерзший к отчаянию мамы и к моей зависти.

Моя гимназическая жизнь шла в установленном порядке занятий, с восторгами от русской словесности и красоты древней Греции и в нежной любви к моей подруге «на всю жизнь». В лучших надеждах и помыслах мы гуляли друг с другом на «большую перемену» в старом гимназическом саду, тихом и сыром. Торже-

ственные экзамены с яркими взлетами и горестными промахами и маевки под высоким откосом Волги, где было так много ландышей, где так хорошо мечталось и просто дышалось под треск костра... Катались на лодках в весенней тишине, и простор Волги и плеск вёсел гармонично аккомпанировали нашему пению:

Слёзы горькие льёт молодец
На свой бархатный кафтан...

Пели мы хором, нисколько не отделяя себя ни от этого молодца, ни от «пастушка, что напевал песню дивную, а в той песне поминал свою милую».

Сарафанчик ей куплю
Голубого бархата,
Еще серьги ей куплю
Крупного же-емчуга...

Гимназисты на каникулах ходили в шелковых ярких косоворотках, в широких бархатных шароварах, заправленных в сапоги, с красными кистями на поясках. У меня был синий сарафан из крашенины и золотая повязка на голове с красной лентой, как у боярышен на картинах К. Маковского.

Эта пасторальная русская жизнь еще не была для нас далеким прошлым.

Зимой в провинции жители замыкались за двойными окнами, кошмой обитыми дверями, теплыми печами, без необходимости не покидали своих теплых палат, и только в погожие солнечные дни выезжали на рысаках с медвежьими полостями, дамы в малиновых и синих плюшевых ротондах с собольими воротниками, чтобы себя показать и людей повидать.

На святках ряженые ездили по балам, устраивали спектакли, и я особенно любила, когда меня брали на обед к другу моих родителей. Это был помещик Ле-

жин, он часто бывал у нас и особенно дружил с моей тётей Олей: они оба были прекрасные пианисты. В особняке Лежина для меня была какая-то тайна, может быть, потому что он жил одиноко, и в нарядных комнатах с тяжелыми портьерами и картинами — было пусто. В двусветной столовой с хорами, сидя за столом, я думала: «Говорят у его отца были еще крепостные и, может быть, крепостные музыканты играли на хорах гостям полуголодные, в то время, как лакей, как и сейчас, обносил стол вкусными блюдами». Я помнила, как у нас на костюмированном балу Лежин был какой-то странный, схватил танцующую тетю Олю за руку, — этого не полагалось, — так как тетя была рассержена, а Лежин сел в кресло, завернул в двадцатипятирублевку табак и закурил ее к неудовольствию мамы. Я помню, как после этого случая, мама и тетя Оля раздумчиво и тихо осуждали его, и мама говорила, что он, кажется, женится на своей кузине, которая иногда приезжала к нам верхом, стройная и строгая, в темной амазонке и цилиндре с длинной вуалью.

Тетя Оля, расстроенная, ходила взад и вперед по гостиной и молчала. Зимний сезон продолжался. Однажды я сидела в гостиной на нашем глубоком зеленом диване, темнели старые простеночные зеркала, в углу рояль, а в окна бились обледенелые ветви деревьев. Тетя Оля примеряла перед зеркалом свое новое сиреневое платье, портниха ползала по полу, закалывая подол, а я любовалась им и тоненьким профилем тети с «чёлкой» на лбу. А когда портниха ушла, тетя села за рояль и играла мой любимый «Полонез Огинского». Тетя Оля и мама были польки по матери, и я знала, что Огинский написал свой полонез в тюрьме, куда был заключен, как борец за свободу Польши.

На другой день в этой же гостиной были гости, и Лежин, наклонив свою голову с буйными рыжими во-

лосами над клавишами, играл Бетховенскую сонату «Pathétique», и Бог знает, что думал он, чьи образы витали в его мыслях, и о чем строгом и печальном пел рояль в его дивной игре. Так недостижимо казалось то, к чему взывали звуки, и в то же время это казалось самым близким, самым нужным человеческой душе.

Оля слушала, сидя на диване, закрыла лицо руками, я тревожно смотрела на нее. И вдруг она встала, убежала к себе в комнату, и послышались ее придушенные рыдания. Мама бросилась к ней, все вдруг смолкли, стало тихо, я побежала тоже к ней и видела, как все засуетились около тети, сидевшей в кресле, закинув голову с закрытыми глазами, и Лежин, озабоченный, ближе всех к ней. Папа сумрачно отсчитывал капли в рюмку и говорил: «поскорее грелку, и теперь влейте в рот эти капли . . . Все обойдется, ничего, опасности нет . . .»

Заметив меня, он выпроводил меня из комнаты.

Через 2-3 года я начала кататься со своими подругами на коньках на «Черных прудах». Это было одно из наших самых больших удовольствий. Когда «Красавчик» подкатывал меня с мадемуазель на санях с медвежьей полостью с кистями, поднимавшими снежную пыль, к «Черным прудам», я с радостью уже слышала несущиеся звуки оркестра, играющего то вальс «Невозвратное время», то «Дунайские волны», и лязг коньков, режущих лед.

Там ждали меня подруги и товарищи моего брата, гимназисты и институтцы, так как в нашем городе был Дворянский институт для молодых людей с программой мужских гимназий.

Гимназисты были одеты в серые шинели с синим околышком на фуражке, институтцы в черные, с красными околышками.

Среди этой молодежи многие сделались впоследствии видными общественными деятелями и писателями. Моя подруга «на всю жизнь» Соня Кульчицкая — будущая жена всемирно-известного историка Ростовцева, его неизменная сотрудница в археологических изысканиях, Игорь Демидов, будущий сотрудник Милюкова в «Последних Новостях», Вера Дубровина — будущая жена писателя Гарина-Михайловского, мой брат — сотрудник Временного Правительства, Коля Скворцов, будущий директор лучшей детской больницы в Москве, Бутька Богодуров — композитор, опера которого «Амур и Психея» шла в московском театре, Герман Ливен (о нем скажу позже) и многие другие.

Радостные встречи на катке, счастливое, безоблачное веселье!

На Святках на прудах появлялись взрослые барышни, дочери предводителей дворянства, фрейлины, жившие в Петербурге, в сопровождении великолепных гвардейцев в светло-серых шинелях с бобровыми воротниками. Они катали своих дам по льду в креслах на полозьях и не надевали коньков.

«Петербург, — думала я, глядя на них, — какой это великолепный, должно быть, город! Неужели и я когда-нибудь буду жить в нем?»

Мои друзья собирались друг у друга сперва для танцев, затем увлекались спиритизмом и гипнотизмом, а затем, когда мой папа запретил, говоря, что это расстраивает нервную систему, мы начали ставить домашние спектакли.

У нас в доме поставили «Горе от ума». Чацкого играл мой брат, вошедший полностью в свою роль, Софью — моя подруга, очень подходившая к роли светской резонерки, Фамусова — мой кузен институтец. Он играл превосходно и мог бы быть украшением любого театра, если-бы не сделался впоследствии лучшим дет-

ским врачем в Москве. Лизу играла другая моя подруга: вертливая, с острым умом и личиком, так подходившая к фигуре Грибоедовской субретки. Но, кажется, лучше всех был Репетилов — гимназист старших классов — ввалившийся на сцену в «николаевской» шинели и цилиндре, с нерешительными жестами выпившего человека, не знающего, что еще выдумать . . . Я играла, со своей собачкой, Наталью Дмитриевну, в старинном сиреневом шелковом платье. Вообще, костюмы были стильные, того времени, а у Софьи белое шелковое ампирное платье, вышитое золотом.

Хороши были и декорации, расписанные талантливым будущим художником и поэтом, а тогда маленьким институтцем Валерианом Грациановым. Во время Тулонских торжеств франко-русского союза, он написал стихотворение, облетевшее тогда всю Волжскую прессу:

Vive la France! Ура Россия!
Торжествуй, святой союз,
Да продлятся дни златые
Наших двойственных уз, и т. д.

Среди приглашенных на наш спектакль были Н. Ф. Анненский, будущий редактор журнала «Русское Богатство», своими остроумными и веселыми репликами он вносил нам много оживления, и писатель В. Г. Короленко, с наслаждением поощрявший нашу игру и горячо нам аплодировавший.

Оба они были очень близки с моими родителями, а В. Г. Короленко всю последующую жизнь относился ко мне с отеческой ласковостью, а в описываемое время читал и поправлял мои классные сочинения.

А время шло . . . Молодежь росла, и ее умственные потребности ширились и развивались. У нас уже был

«кружок», где мы систематически читали модные тогда политико-экономические книги.

Окружающая нас жизнь, казалось, текла по обычному старому укладу, и никому тогда не приходило в голову, что Императорская Россия доживает свои последние десятилетия. Крепок был быт, подчинявший и регулировавший обывательскую жизнь; общественная жизнь была в зародыше, и особенно она была изъята из женской судьбы. В горницах, как и в древние времена, девушки сидели за пяльцами, в деревнях, в сарафанах за прялками, и все было не дозволено. «То — не гоже, то — запретно, то — срамно».

Где-то на Руси были рассеяны маленькие горсточки интеллигенции, свободолюбивой, не признающей старого уклада жизни, зачастую все отрицающей, от которых обыватель шарахался в сторону, как от посягателей на его традиционную, крепкую жизнь, и неодобрительно качал головой. Даже ученые были под подозрением, и их боялись, как разрушителей налаженной веками жизни.

Многие друзья мои, окончивши гимназию и институт, поступили в московские и петербургские высшие учебные заведения, и некоторые из них вошли в эсеровскую организацию. В числе их был Герман Ливен. С необыкновенным умом — он никогда не зубрил, был всегда первым учеником и окончил с золотой медалью Дворянский институт. Поступив в Московский университет, он вошел в партию эсеров, быстро выдвинулся и там, и вскоре попал в Бутырскую тюрьму.

Но, оказалось, он совсем не переносил подавляющей тишины одиночного заключения, у него начались галлюцинации, и он очень тосковал о своей матери. Она приезжала к нему на свидания из Нижнего, и расставания сына с матерью были всегда мучительны. И вдруг пришла ужасная весть: Герман облил свою постель ке-

росином и сжег себя. Все были потрясены этим событием, и оно оказало на наш кружок огромное влияние. Вскоре мы получили портреты Германа Ливена, изданные партией эсеров. Худенькое лицо его с черными глазами смотрит решительно, голова окружена лавровым венком с надписью: «Не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить».

Многие десятилетия я хранила этот портрет и жалею, что не имею его под рукой.

Пока я была маленькой гимназисткой с хорошеньким голосом и хорошо танцевавшей, я была любимицей начальницы и классной дамы, теперь же всё раздражало их во мне: и мои смелые ответы и мой независимый вид.

Однажды я очутилась в вагонетке фуникулёра вместе с гимназическим батюшкой; я поднималась с Нижнего Базара на древний Нижегородский Кремль. «Здравствуйте, батюшка!» — приветствовала я его. «Здравствуй, здравствуй» — косо посмотревши на меня и недобро улыбнувшись, он сказал: «А вы — лютая!..»

Удивленная и обиженная, я вышла из кабинки и думала: «Что он сказал? Ах, как это? Должно быть, за то, что я его спрашивала, — куда поместить язычника Сократа в ад или в рай?.. Он очень был недоволен мной и ничего мне не ответил».

Весной, когда Волга и Ока заливали Ярмарку, и временно прекращалось сообщение с городом, Сеня Франк, живший около ярмарки, и его милая сестра, красавица Соня, жили у нас, когда еще учились в гимназиях. Оба были любимцы нашей семьи, и родители наши были очень дружны между собою. Сеня, прекрасный для своего возраста пианист, часто аккомпанировал мне на рояле, и мы думали, что из него выйдет замечательный ученый, так он поражал нас своим зрелым умом и всесторонними знаниями. Он окончил с золотой

медалью гимназию, и неожиданно поступил в Московский институт восточных языков, а затем в Московский университет, а в настоящее время стал самым видным мировым богословом православия и русским мыслителем XX века.

В последнюю весну моей гимназической жизни у нас в классе был переполох. Старшая сестра одной из моих классных подруг, Саша, выходила замуж за богатого хлеботорговца, известного по всей Волге. Саша была из бедной семьи, и этот необычный в то время брак удивлял, волновал и вызывал зависть многих. Невеста была тихая, миловидная барышня и, вероятно, эта ее тихая миловидность и пленила молодого наследника, занятого отцовскими делами, его многочисленными баржами, ходившими с хлебом и зерном по Волге.

После свадьбы я встретила молодую на концерте, нарядно одетую, и на ее нежном, перламутровом лице лежала еще большая печать неловкости и застенчивости, и видно было, что она еще не могла справиться с нахлынувшим на нее счастьем.

Была весна. Я стояла у ворот купеческого каменного дома на откосе, где жила теперь Саша. Внизу глубоко до самой Волги лепились небольшие темные домики с садочками. Лед тронулся и льдины с могучим шумом плавно неслись вниз по Волге. Солнце сверкало на льдинах, на мокрых от талого снега крышах домов и на свисавших с них ледяных сосульках. Белые облака будто неслись за льдинами, над Волгой, и я не могла оторвать глаз от этого могучего, весеннего движения; мне казалось, что и я сама плыву куда-то вслед за облаками, льдинами и порывами ветра.

Снизу, с Нижнего Базара доносились надтреснутые звуки колокола низенькой, вросшей в землю церковки.

Там на площади, теперь застроенной амбарами, когда-то Минин собирал людей и деньги для спасения Руси . . . А наверху на Большой Печерке стояла еще часовня-памятник на месте, где в Смутное время войска кн. Пожарского служили молебен перед походом.

Наконец, я позвонила у каменных столбов ворот со львами, повернувшими на входивших свои получеловеческие головы, приподняв одну лапу на большой шар, как бы сторожа вход в широкий двор, застроенный амбарами.

Хозяева жили внизу. в просторных, низких, тепло натопленных комнатах с половиками на блестевших крашенных полах, с жесткими старинными диванами, комодами, пяльцами и клетками канареек у окон. Молодые жили наверху, рядом с парадными комнатами.

За обеденным столом сидели: свекор, свекровь, муж Саши, она, ее сестра и я. Прислуживала монашеского вида женщина в чёрном платочке на голове и, подавая пирог с вязигой и поросенка, низко кланялась присутствовавшим и поспешно уходила в кухню.

За столом разговаривали только отец с сыном, обезпокоенные ранним ледоходом, грозившим затереть и раздавить их караван баржей. Саша мало говорила с нами, и нежный румянец обливал ее лицо, когда муж обращался к ней, выдавая ее затаенную страстную любовь к нему. Она целиком ушла в этот тихий дом, где все было по заведенному порядку, и она сама стала несмело говорить, несмело ступать.

Это лето, последнее по окончании гимназии, я проводила в селе Плёссе на Волге, в именьице, принадлежавшем прежде писателю Гончарову, а теперь сдававшемся внаём под дачи.

Наша дача — небольшая, деревянная — стояла в полугоре откоса высокого берега Волги, в лесу, прежнем парке.

В комнатах было темно от старых деревьев, и доски на террасе шатались под ногами. Отсюда был чудесный вид на внизу расстилавшийся Плёсс, на Волгу, извивавшуюся в берегах, как огромный осетр, блестя на солнце своею рябью-чешуею; а далее на противоположном низком берегу — беспредельные приволжские луга и леса.

За домом на нашем высоком берегу — березовые рощицы сменялись полями ржи с васильками, и гомон птиц будил нас по утрам.

Левитан любил Плёсс и здесь он написал свои известные картины: «Вечер» и «После дождя».

Я и брат проводили здесь каникулы под наблюдением моей гувернантки и ее мужа, учителя французского языка мужского Дворянского института. Мама жила в Нижнем, навещая нас.

У меня гостила моя любимая подруга, и поздно вечером, перебравшись друг к другу в постель, мы вели долгие разговоры, мечтая создать фабрику (все равно какую), но с участием в прибыли рабочих. Под вечер мы спускались в Плёсс, зажиточное село с аккуратными избами, крепкими тесовыми воротами и журавлями над колодцами. На свежих пахучих бревнах, приготовленных на постройку, собиралась вечерничать сельская молодежь: парни в плисовых шароварах и сапогах, с гармоникой в руках, девушки с семечками, в сарафанах или ярких кофтах, с розовыми и голубыми шелковыми платочками на головах. Моя подруга и я скоро выучились всем их танцам и песням, вели с ними хороводы, крепко притаптывая каблучками, счастливые от своей близости к деревенской молодежи, которая казалась нам необыкновенной. Я тогда не знала, что это было мое последнее лето на Волге, среди родного народа. Осенью

я уехала в Петербург на Бестужевские курсы... Началась новая жизнь, нервная, поглощавшая все мои помыслы...

А тогда, в те вечерние часы, когда затихала гармоника, затихали девичьи голоса, до нас доносился тихий плеск уснувшей Волги; дремотно хлопают колеса буксира, тащущего черную баржу, и сильнее плещет тогда потревоженная река. Тянет сыростью, смолой, пеньковыми канатами...

Прекрасна и темна волжская ночь! Поют соловьи в лесу нашей дачи, а за Волгой, в вечернем тумане, на луговой стороне, леса потемнели, и тускло и далеко желтеют огоньки деревень с их радостями, горем и русскими думами.

ВОСПОМИНАНИЯ ЮНОСТИ

В Петербурге

За окнами падают большие, как белые бабочки, хлопья снега; падают тихо, беспрерывно и бесшумно, усыпляя ум. По моей комнате на Васильевском острове, вблизи Бестужевских курсов, куда я, наконец, поступила, ходил взад и вперед Н. Н. Ш., нервно потирая руки, и жаловался на свое одиночество.

«Как», — думалось мне, — «Петербург с его бесконечными возможностями, с кипучей жизнью, которая была в нашем распоряжении, тут рядом, — и вдруг — «одиночество»...

Я молчала, и Н. Н. переходит на свою любимую тему о современной музыке.

Он говорил мне о «кучкистах», о Римском-Корсакове, новом гении, предвосхитившим древнюю Русь Китежа... Многому научил меня... Через несколько дней на какой-то выставке картин он познакомил меня с прелестной молодой барышней, дочерью Римского-Корсакова, а затем пошли с ним обедать к его матери, бывшей замужем вторым браком за знаменитым академиком Ламанским. Это был дом петербургского ученого и бюрократа.

Меня посадили рядом с Ламанским, тогда уже глубоким стариком, далее сидела его дочь и еще кто-то. Обед шел чинно, говорил один Ламанский, в конце обеда подали мятную воду для полосканья рта и мы отправились в гостиную слушать отрывки современной музыки. Н. Н. играл на рояле, напирая на типичные ме-

ста Китежа, и пел так плохо, что я ничего не поняла и ничего не удержала в памяти.

Вообще Ник. Ник-вич много занимался мною и многое сделал для меня.

Мне трудно было поступить на курсы: и года не выходили, и золотой медали не было; Ник. Ник. послал меня со своей рекомендацией к знаменитому географу сенатору П. П. Семенову-Тян-Шанскому. Старый сенатор жил на Васильевском острове в собственном особняке, где помещалась у него его известная картинная галерея фламандских мастеров.

В большой комнате с пылающим камином, в глубоком кресле с укутанными пледом ногами увидела я совсем белого старика с седыми бакенбардами. Он принял меня очень ласково, по-отечески, сказал, что я буду принята на Бестужевские курсы; много говорил со мною, приглашал прийти посмотреть его картинную галерею и на прощанье просил меня дать ему слово никогда не вмешиваться в политику, а заниматься на курсах только наукою.

Я вышла от Петра Петровича смущенная. Мне тяжело было думать, что, может быть, мне придется нарушить доверие этого благожелательного, очаровательного старика.

Время было предреволюционное. Россия волновалась, шла неудачная русско-японская война, общественное мнение негодовало на нее за жертвы, принесенные, как считалось, в угоду концессионерам на реке Ялу. Шли мукденские бои и за ними падение Порт-Артура. Леонид Андреев написал свой нашумевший рассказ о войне — «Красный смех».

В Петербурге шли банкеты за банкетами, говорились на них горячие противоправительственные речи, создавались союзы интеллигентских профессий, не говоря уже о подпольной деятельности чисто революцион-

ных организаций. И молодежь, конечно, не могла оставаться равнодушной, в стороне от этой кипящей вокруг политики. Так или иначе, казалось, надо было на нее реагировать и становиться в чьи-то ряды.

Но я не обманула доверия доброго сенатора. Вскоре мои родители переехали в Петербург, я поселилась с ними, у нас стали бывать все выдающиеся писатели того времени, так как мой отец был близок к редакции «Русского Богатства», журнала, входившего тогда в славу, а моя мать была подругой Александры Аркадьевны Давыдовой, издательницы другого популярного журнала «Мир Божий» и, приезжая в Петербург из Нижнего, всегда останавливалась в большой квартире Александры Аркадьевны на Лиговке против Греческой церкви, около домика, где жил тогда Короленко.

Я бывала в обеих редакциях: на журфиксах «Русского Богатства» и более интимно в «Мире Божьем», хотя народническое направление «Русского Богатства» было мне ближе и милее марксистского «Мира Божьего», так как я знала русское крестьянство, любила его и горячо сочувствовала его нуждам.

С одной стороны, — Н. К. Михайловский, В. Г. Короленко, Н. Ф. Анненский, В. А. Мякотин, А. В. Пешехонов, с другой — М. И. Туган-Барановский, П. Б. Струве, С. Н. Булгаков и Богданович.

С одной стороны будущие «народные социалисты», с другой — ярые социал-демократы.

Эти идеологические враги дружно нападали на правительство, что не мешало им так же яростно нападать в своих журналах друг на друга.

Покойний муж Александры Аркадьевны, Карл Юльевич Давыдов, избранный, после смерти Антона Рубинштейна, директором Петербургской консервато-

рии, был неповторяемым виолончелистом; на его концертах публика плакала, потрясенная его гениальной игрой. Давыдов был также композитор и оставил после себя несколько прелестных романсов («Давно покинутый тобою . . .», «Шелохнулась занавеска . . .» и пр.). Его портрет во весь рост висел над диваном большой гостиной Александры Аркадьевны. Его знаменитая виолончель Страдивариуса была уже разбита, и вторую его виолончель, тоже с трещинкой, дочь А. А., Лидия Карловна Туган-Барановская, отвезла заграницу и продала за 70.000 руб., — целое маленькое тогда состояние.

В этой гостиной, изредка, Александра Аркадьевна устраивала концерты в память своего мужа, и известные певцы пели его романсы, а пианисты играли Листа, большого ее поклонника, переписывавшегося с ней до самой своей смерти.

Помещица Пензенской губернии, она была настоящей красавицей, и нельзя было не любоваться ее портретом в молодости, висевшим в маленьком редакционном кабинете, рядом с конторой «Мира Божьего». Александра Аркадьевна была довольно равнодушна к музыке и провела пол-жизни в светских интересах, тем удивительнее была ее издательская деятельность, имевшая большое влияние на русскую общественность.

На больших приемах, которые устраивала Ал. Арк. у себя, а иногда и в консерватории, собирались все знаменитости тогдашнего артистического мира: Антон Рубинштейн, друг Давыдовых; ученик и поклонник Карла Юльевича, герцог Мекленбургский, (внук В. К. Елены Павловны, горячей поборницы реформ 60-х годов), создавший свой известный камерный квартет; писатель Гончаров, называвший Александру Аркадьевну — «сладчайшей», Гаршин, юный Мережковский, впоследствии редакция «Русского Богатства», общественные деятели, светские женщины с блиставшей красотой и

умом баронессой В. И. Икскуль. В ее салоне на Сергиевской улице собирались также писатели, сановники и некоторая часть гвардейской молодежи. Прекрасный портрет Варвары Ивановны, — «Дама в красном», писанный во весь рост Репиным, висит в Третьяковской галерее.

Уже в «беженстве», приехав в Париж, я пошла навестить В. И. Икскуль в огромной квартире у Этуаль и нашла Варвару Ивановну мертвой, лежащей на кровати. Ее лицо было также прекрасно, и маленькие ручки сжимали Распятие. На другой день П. Н. Милюков поместил о ней свой трогательный, душевный некролог.

Впоследствии, поручив журнал «Мир Божий» своей дочери, Александра Аркадьевна основала еще новый детский журнал «Всходы», которому с любовью отдавала все свое свободное время.

Помню ее в столовой, по утрам, в черном кружевном платье, ее гладко причесанную итальянского типа головку с прекрасными, умными и проникновенными карими глазами, ее ласковую улыбку.

Перед ней лежат пачки писем подписчиков на «Всходы», принесенные ее старым слугой.

Мы с Мусей, моей сверстницей, ее приемной дочерью, сидим около нее и помогаем разбирать письма.

У Александры Аркадьевны был еще сын Кикс, бон-виван, как тогда говорили, растративший на балерин не только много денег, но, главное, и свое здоровье, и Ал. Арк. принуждена была его отослать с его камердинером в теплый Туркестан, подальше от Петербурга и, пожалуй, от себя: ей невыносимо было видеть своего сына в полном упадке умственных способностей.

Ее любимая дочь, Туган-Барановская, получившая прекрасное образование, редкая по уму и обаятельности женщина, была вдохновительницей и помощницей в редакции «Мира Божьего», а также сотрудничала, а ино-

гда и исправляла политико-экономические статьи своего мужа.

Она скоро умерла от белокровия. Ее похоронили в часовне, украшенной древней иконой, в Александро-Невской Лавре, где скоро упокоилась и Александра Аркадьевна, не смогшая пережить смерть дочери. После ее смерти «Мир Божий» перешел в руки Муси и ее мужа Александра Ивановича Куприна.

Это было время модного тогда марксизма. Мих. Ив. Туган-Барановский, Серг. Ник. Булгаков, скончавшийся не так давно священником в Париже и написавший так много замечательных книг по богословию, и Петр Бернгардович Струве стали во главе русского марксизма, а также журнала «Мир Божий».

«Русское Богатство» и «Мир Божий» — две редакции, два враждебных лагеря различных политико-экономических воззрений, оба левых убеждений, друзья-враги, так сказать . . .

Редакция «Русского Богатства» идеологически и по умственным силам была сильнее «Мира Божьего», но «Мир Божий» был более отзывчив к текущей жизни, благодаря влиянию матери и дочери Давыдовых, несмотря на сухую непреклонность марксизма. «Мир Божий» также считался со вкусами широкой публики, желавшей читать модных тогда беллетристов, и особенно в этом помогал Ал. Ив. Куприн.

«Русское Богатство» не гонялось за модными писателями, часто «говорило», что у последних такие денежные аппетиты, что их удовлетворить «Русскому Богатству» не по силам. Но, конечно, не это одно . . . Редакция его: Н. К. Михайловский, С. Южаков, Вл. Короленко, Н. Ф. Анненский, были продолжателями идей народовольческой партии — мысль которой была всецело поглощена вопросами политики, которая могла бы изме-

нить тяжелое положение дорогого «Русскому Богатству» крестьянства.

Вспомним знаменитое письмо Ник. Конст. Михайловского, написанное им Имп. Александру III от имени «Народной Воли», вскоре после трагичного 1 марта, письмо, облетевшее нелегально всю Россию!

Редакция «Русского Богатства» помещалась в Басковом переулке, недалеко от Литейного проспекта. Поднимаешься по узкой лестнице в прихожую, сплошь заставленную книгами и проходишь через контору редакции в соседнюю большую комнату, где около стола с самоваром по четвергам собирались люди, близкие к редакции.

Если у стола сидел Владимир Галактионович Короленко и рассказывал что-нибудь, устремив свои мечтательные карие очи вдаль, откинув назад свою красивую голову, все умолкали и очарованные заслушивались его всегда прекрасным рассказом. Н. К. Михайловский, обычно стоя и держа папироску в своих тонких руках, небольшой и сухощавый, аккуратно застегнутый, наклонив голову, слушал Короленко, и его обычно строгое лицо смягчалось и даже немного улыбалось.

Михайловский был непререкаемым главой редакции, перед умом и авторитетом его преклонялись.

Его статьи о Достоевском «Жестокий талант», «Герои и толпа» с его новой социологической теорией знала вся интеллектуальная Россия. Кто-то сказал о нем: «Если бы он писал заграницей, он открыл бы новую эпоху в социологии».

В это время традиция народовольчества, обезглавленного процессами 1 марта и, так называемым, процессом 193-х, — все еще существовала, подкрепляемая жесткой реакционной политикой Победоносцева и имп. Александра III. Были еще живы речи, которые говорили на суде террористы и их защитники; были люди,

переживавшие трагические дни 1-го марта, имевшие такое губительное политическое влияние: страна замерла в глубоком оцепенении. Мой свёкор, бар. А. К. Врангель, рассказывал мне, как он шел, кажется, по Знаменской улице, и как его обогнала ужасная процессия: посреди взвода солдат тихо ехала простая телега, и в ней сидели со скрученными руками Желябов, Перовская и Русаков, ехали на казнь. За ней шли уличные мальчишки. Прохожие останавливались в подавленном молчании. Желябов начал было что-то говорить, обращаясь к остановившимся прохожим, но тотчас же забил барабан, и не слышно было его слов.

«Русское Богатство» внесло в свою редакцию пуританизм, строгость к себе и другим. И статьи Михайловского были беспощадны, он не озирался по сторонам и, зачастую преследуемый цензурой, неуклонно вел свою линию.

Личная жизнь Н. К. Михайловского сложилась неудачно: его жена, чуждая его интересам, его покинула, оставив ему своих двух сыновей, найдя свое счастье в другом браке. Его увлечения красавицей Давыдовой и впоследствии другими выдающимися женщинами не играли роли в направлении его жизни. Но у Н. К. были уголки души, куда он допускал единичных друзей, как, например, писателя Мамина-Сибиряка и литературного критика Горнфельда.

Про Горнфельда Михайловский рассказывал: «Стою я у конторки и пишу, слышу звонок . . . и вижу вдоль стены, как бы ощупью, приближается ко мне какая-то маленькая, бесформенная фигурка, как будто горбатая . . .» Это и был Горнфельд, которому так впоследствии покровительствовал Михайловский за его широкие знания, литературный вкус и дарования.

Я знала Горнфельда, привыкла к его безобразию и с удовольствием смотрела в его светлые, серые, добрые

глаза и улыбку, и слушала его авторитетный литературный отзыв.

На летние каникулы он уезжал в свою любимую Балаклаву, где некуда было ходить, да он и не мог, с утра он брал свою лодочку и уезжал далеко в море, а в непогоду посреди Балаклавской бухты сидел в лодке, часто читая и работая.

Когда умерла от родов красавица жена Мамина-Сибиряка, оставив ему дочку Алёнушку, которую он так любил и для которой написал свои прелестные «Алёнушкины сказки», то Мамин-Сибиряк приходил к Михайловскому, садился на диван и долго горько плакал... Когда у Михайловского, после перегруженной работой зимы, начались головокружения и обмороки, он поехал на отдых в Ялту и поселился на прекрасной даче у берега моря, на которой впоследствии жили Горький с Андреевой. За ним поехал и Мамин-Сибиряк.

В Ялте Михайловский был другой: доверчивый, мягкий, он видимо отдыхал от необходимости отражать и наносить удары. Он быстро поправился, ходил пешком с моим отцом к Марии Ив. Водовозовой-Токмаковой в ее имение Мисхор и вернулся почти здоровым в шумный, многокрасочный Петербург.

Там, в день его именин, у него собрался весь петербургский литературный мир и учащаяся молодежь. В дальних комнатах его сыновей молодежь пела под гитару, там были Гайдебуров и молодой еще Качалов — оба уже наметившие свое сценическое призвание.

Когда начинался спор между Милюковым и Мякотиным, представителями двух разных течений общественной мысли, тогда замолкали гитары в комнатах сыновей и молодежь тесным кольцом окружала спорящих. Михайловский не вмешивался, но изредка выравнивал обоих спорщиков.

Мамин-Сибиряк не любил Ялту: ему было тесно в ней. Не было ни дремучих лесов уральских, где люди жили, как отшельники, отыскивая платину, где «старатели», страстные любители своего промысла, знали все горные ручейки Урала, на дне которых они находили изумруды, александриты, перлы, тяжеловесы, яхонты, аквамарины, хризопразы, и пр. драгоценные камни, где жили промышленники в дворцах, где прокучивались «Приваловские миллионы», где родилась на широкой, солнечной Екатеринбургской улице его любимая, покойная жена, сестра второй жены Куприна.

Не нравился ему юг с кипарисами, которые Мамин называл «мётлами», и иногда он вынимал из своего кармана мешочек с редкой коллекцией уральских камней и рассказывал о них причудливые истории.

Большим влиянием в редакции «Русского Богатства» пользовался Н. Ф. Анненский, писавший свои ежемесячные обозрения совместно со своим другом Вл. Короленко, носившие псевдоним «Оба».

Анненский, брат известного поэта, был одарен блестящим умом; энергичный, веселый и подвижной, человек дела, он был признанный глава русской статистики; он не был литератором в строгом смысле этого слова. Но его знания экономического состояния страны, его русская, беспредметная талантливость завоевали любовь и влияние в редакции.

Впрочем был у Н. Ф. Анненского и свой собственный талант, могучий талант народного трибуна. Такого оратора я уже никогда больше не слышала, хотя я много раз видела и слушала Жореса, живя в Париже, и была в восторге от его львиной фигуры на сцене, где он метался, как лев в клетке, аппелируя к восторженным слушателям.

Анненский был высок, немного грузен, его некрасивое, но хорошее лицо с серыми, часто веселыми глазами,

которым нельзя было не верить, быстро завоевывало слушателей. Одна рука его закинута за спину, а другая направлена в толпу, как бы указывая ей путь, по которому надо было идти. Своим блестящим умом и уничтожающим сарказмом, он быстро топил всех своих противников, и такие восторженные овации, как ему, вероятно, доставались одним знаменитым певцам. Не даром Николай Федорович шутя говорил: «Эх, если бы у меня был какой-нибудь талант, хотя бы оперного певца . . .» Он часто напевал арии из опер, и однажды вечером, гостя на даче у Короленко в Финляндии, после ужина, напевая какую-то арию, он простился с присутствующими и пошел спать . . . чтобы никогда больше не просыпаться от своего последнего сна!

У жизнерадостного, страстного Анненского была тихая семейная жизнь. Его жена, дальняя его родственница, Александра Никитична, урожденная Ткачева, сестра известного бунтаря, была спокойная, положительная женщина и очень известная детская писательница. Ее «Зимними вечерами», «Маленьким оборванцем», «Мои две племянницы», зачитывалась вся детская Русь. Она очень спокойно относилась к политике, интересовалась педагогикой и здоровьем обожаемого ею мужа. Одна из ее племянниц вышла замуж за Богдановича, редактора «Мира Божьего».

Впоследствии, редакция «Русского Богатства» пополнилась Мякотиным, Пешехоновым и пр. сотрудниками. Отсутствие строгих требований к беллетристике и некоторая ригористичность «Русского Богатства» были не по душе моей матери.

Приехав из Крыма с Куприным, моя мать познакомила его с редакциями. Она старалась ввести в редакцию Александра Ивановича Куприна, тогда только еще начинающего писателя, но уже обратившего на себя всеобщее внимание. Он дал «Русскому Богатству» свой

первый роман «Молох», но скоро почувствовал себя чужим в этой строгой обстановке и перестал бывать по четвергам, и наоборот, стал близким человеком к «Миру Божьему», много там печатался и наконец женился на приемной дочери Давыдовой — Мусе.

Атмосфера редакции «Мира Божьего» была совсем иная. Мы, зеленая молодежь, чувствовали себя там, как дома. Редакция занимала две комнаты, рядом с гостиной Александры Аркадьевны, в ней руководительницей была наша любимая Лидия Карловна, покровительница наших юных душ, нашего юношеского веселья. И Иван Алексеевич Бунин, и Александр Иванович Куприн, и моя подруга Соня, и ее жених, будущий знаменитый историк М. И. Ростовцев — наши дорогие друзья незабвенных вечеров в «Мире Божьем»!

Они все были далеки от марксизма и все же сотрудничали в журнале. Мой отец, искренно любя Александру Аркадьевну и Лидию Карловну, держался поодаль от Туган-Барановского (как и вся редакция «Русского Богатства») и других «марксят», как мы называли многих сотрудников «Мира Божьего».

Сыновья Михайловского, Гайдебуров, и другие услужливые молодые люди доставали нам билеты на спектакли. В то время в Александринском театре царствовала во «Власти тьмы», в «Иванове», умная, прекрасная актриса Савина и выступала Коммиссаржевская: трогательная в «Бое бабочек», трагичная в «Бесприданнице», и, основав свой театр с новыми «веяниями», являлась в «Сестре Беатрисе» в серебряном одеянии, прекрасная, трепещущая и уже неземная.

Чудесные декораторы Головин и Шервашидзе подняли Мариинский театр на недосягаемую художественную высоту, особенно в «Валкирии», где в разверзнутых облаках шла битва богов под аккомпанемент торжественного оркестра Направника; великолепная Литвин

пела свою прощальную арию, ложилась на свое смертное ложе и божественные огоньки уже бегали по ее телу . . .

Это было время расцвета русской литературы, музыки, художества и символизма. Леонид Андреев писал мрачныя пьесы: «Царь голод», «Некто в сером» и у него на квартире я, впервые, увидела поэта Блока, только что входившего в моду. Он стоял, прислонившись к стене, одинокий, с бледным, усталым и неприятно-равнодушным лицом и декламировал свою «Прекрасную Даму».

«И что тут такого значительного, чтобы писать об этом?» — думала я, еще не искушенная жизнью.

Во множестве появились новые журналы: «Былое», «Старые годы», «Новый журнал», с его проповедью люб ви к «дальнему», «Весы», «Сатирикон», «Золотое Руно» и множество других.

Редакции «Русского Богатства» и «Мира Божьего» стояли в стороне от новых литературных течений и символизма и, если реагировали на них, то не всегда дружелюбно.

«Русское Богатство» читалось во всей интеллигентской России с особенным чувством. Эти читатели становились преданными друзьями и почитателями его идеологии.

Редакция «Русского Богатства» в своем большинстве принадлежала к правому крылу русского народничества и не примкнула к наследникам народовольцев — социалистам-революционерам, а создала новую собственную партию «Народных социалистов», без демагогических лозунгов, без террористических выступлений.

Эта партия умеренных социалистов, интеллигентская по существу, не могла иметь широкого распространения среди народных масс, идущих за громкими ло-

зунгами, и была, как мы шутили, «армией генералов без солдат».

Петербург кипел и бурлил: общественная жизнь, революционное движение, литература, искусства и, конечно, политика в первую голову. Бурлил неистово, а предохранительного клапана не было. И все взорвалось . . .

За большим столом в квартире писателя Гарина-Михайловского много литераторов и среди них Горький. Горький говорит с увлечением о своем проекте создания нового театра. Была даже присмотрена земля для него в центре Петербурга.

Ко мне подошел Николай Георгиевич Гарин-Михайловский, автор прекрасного рассказа «Детство Тёмы», как всегда красивый и элегантный, поднес мне коробочку с белыми пилюлями и сказал:

— Вот этими пилюлями я и живу! Замечательные. Всякая усталость моментально проходит . . . Хотите попробовать?

Мой отец, доктор, присутствовавший тут, запротестовал.

Накануне мы были с Гариным и его другом Николаем Захаровичем Пановым в «Аквариуме», в отдельном кабинете, где угощались, слушая бесподобное пение приглашенных Гариным цыган. Н. З. Панов, художник-гравер, преподаватель училища Штиглица, подпевал цыганам.

Он нарисовал прекрасный портрет Чехова перед смертью, портрет, который разыскивает в настоящее время «Литературное Наследство» при Академии Наук в Москве. У меня был этот портрет, но затерялся в беженстве. Писанный Пановым портрет А. И. Герцена мно-

го раз воспроизводился в журналах и был издан особым изданием. Портрет моего отца остался в Ялте.

Через несколько времени в редакцию, входившего тогда в моду журнала «Шиповник», Гарин-Михайловский пришел откуда-то с опозданием, усталый, и сразу лег на диван.

Короткий припадок и . . . смерть. Литературный Петербург очень любил его за его необычайную доброту, помощь, которую он оказывал нуждающимся, за его веселость и его особую любовь к детям: у него было много детей своих и он приютил у себя еще трех «приемышей». Были торжественные многолюдные похороны на «Литературных мостках» Волкова кладбища и решено было устроить поминки усопшого писателя и поставить ему памятник.

Мы с вдовой Гарина, Надеждой Валериевной, — сестрой нашего посла в Константинополе, Чарыкова, прекрасной души женщиной, — занялись этим делом. Наняли сдававшийся великолепный особняк кн. Юсупова на Литейном проспекте и устроили музыкально-литературный вечер и ужин.

В особняке кн. Юсупова жила когда-то «графиня» из «Пиковой Дамы». Я попала в уцелевший еще барский дом XVIII века. Это был прекрасный памятник давно прошедшей великосветской жизни. Гранитный темный фасад с огромными окнами и монументальным подъездом. После мраморной лестницы с колоннами вестибюля поднимаешься на площадку зимнего сада и в небольшую гостиную золотистого шелка, с великолепными двумя круглыми столами из малахита по углам перед диванами. Направо от площадки большой зал, где и состоялось выступление артистов. Громадные окна занавешаны штофными занавесами, богато расшитыми серебром. Налево от площадки другая большая гостиная

черного дерева, покрытая темносиним шелком. Потемневшие картины висели на штофных обоях. Далее — коридорчик и вход в спальню графини. Ах, эта спальня! Входишь в нее с чувством близости происшедшей здесь драмы. Все осталось почти таким же, как описывает Пушкин: потрепанные штофные обои, мебель с пуховыми подушками, фарфоровые люстры и бра — vieux-saxe. Не помню только, висели ли еще два портрета кисти Лебрэна, упомянутые Пушкиным. Один — вельможи, другой — графини в расцвете ее красоты: нос с горбинкой, пудреные волосы гладко зачесаны на висках и украшены двумя розами, — портрет тех времен, когда в Париже люди бежали за ее каретой, стараясь увидеть «Venus Moscovite»...

Да, вот в этом дворце XVIII века мы и устроили поминальный вечер талантливому и прекрасному автору «Детства Темы» и др. рассказов. Не помню программы поэтических и музыкальных выступлений — их так было много тогда в Петербурге! Но помню длинный-длинный стол вдоль зимнего сада. За ужином собрались почти все литераторы и среди них Леонид Андреев. Он подошел ко мне, чтобы познакомить меня со своей невестой... невестой после недавней смерти своей жены, нежной подруги Александры Михайловны. Видя мой растерянный вид, он сказал:

— Или жить, или совсем покончить с жизнью, вы знаете!..

Быстро пронеслась в памяти моя жизнь на даче Андреевых в шхерах близ Гельсингфорса.

Александра Михайловна, нарядная, счастливая, «на последях» своей беременности и почему-то очень страшившаяся родов. Она уехала в Берлин, где родила второго сына и, заразившись в клинике, умерла от родов. Андреев был в отчаянии...

Я познакомилась с его будущей второй женой — замечательной красавицей.

В огромной столовой был шумный ужин; конечно, говорилось много речей, как вдруг вспыхнула ссора А. И. Куприна с приехавшим после японской войны с Дальнего Востока офицером, чуть не закончившаяся дуэлью. Она была предотвращена вмешательством писателей.

Получив крупную сумму денег, мы решили поставить хороший памятник на могиле почившего писателя и заказали его проект известному в то время скульптору, имя которого выпало из моей памяти. Я часто приносила в его мастерскую всевозможные портреты Гарина-Михайловского, необходимые для его работы.

Памятник был готов и поставлен на могиле. Из мраморной доски на гранитном пьедестале смотрит прекрасное лицо писателя в задумчивости опустившего голову на руку.

Литературный уголок Волкова кладбища — невозвратимое прошлое . . .

БЕРЕГ ДАЛЬНИЙ

Крым

Когда я впервые попала в Крым, он только что начал обстраиваться и пробуждаться к новой жизни и деятельности после Крымской кампании.

Севастополь долго не мог залечить свои раны, и по главным улицам все еще стояли белые каменные дома, развороченные снарядами, с разрушенными оградами.

В Севастополе еще были живы люди, дравшиеся на Черной речке «у трактира», на знаменитом 4-ом бастионе, — они с гордостью рассказывали о своих героях Нахимове, Тотлебене, Корнилове.

Южный берег был еще полон воспоминаниями о временах «Очакова и покорения Крыма»: об академике Палласе, приглашенном Екатериной II, о наместнике гр. Воронцове, столько сделавшем для изучения и благоустройства покоренного края, о сортах винограда, ввезенных ими в Тавриду, о школах садоводства и виноделия, ими открытых.

Еще не забыли княгиню Голицыну, внучку фельдмаршала гр. Миниха, разгромившего Бахчисарай в царствование имп. Анны Іоанновны, высланную из Петербурга в Крым за свое известное «Обращение к народу».

Рассказывали, как она вместе с бар. Крюденер, имевшей одно время большое, тяжелое влияние на имп. Александра I, основала религиозно-мистическое общество и ходила в монашеских одеяниях с крестом на груди и Евангелием в руках проповедывать христианство среди татар.

Высоко над морем, на одном из холмов Кореиза стоит часовня построенная кн. Голицыной для мистических собраний. В ней спит княгиня своим последним сном, окруженная немногими русскими могилами, и старые кипарисы, как черные монахи, столпились вокруг.

А на окружающих виноградниках и в темных парках стоят их дома, старомодные барские небольшие особняки Александровской эпохи, с высокими полукруглыми стеклянными дверями и окнами, с каменными террасами и штучным паркетом в гостиных. Эти барские усадьбы так художественно иллюстрировали замечательное переходное время присоединения Крымского ханства к Российской Империи.

Дома со стрельчатыми окнами на восточном переплете, с прелестными минаретиками вместо труб, с колоннами, поддерживающими крышу над окружающей дом террасой, давали очень удачный, соответствующий характеру Крыма «татарский ампир».

К княгине Голицыной и баронессе Крюденер присоединилась графиня Гашер, проживавшая в имении Артек.

Кто она была? Эту таинственную женщину, носившую то мужской костюм, то одеяние монахини, некоторые историки считают известной графиней де ла Мотт, замешанной в дело о пропаже ожерелья королевы Марии Антуанетты, подвергшейся бичеванию и клеймению на Гревской площади. Высланная затем в Англию, она перебралась в Крым, место паломничества тогдашней европейской аристократии.

Старожилы Феодосии помнили, как в Старом Крыму доживала свой век графиня в полном одиночестве, имея в услужении одну татарку.

Эта татарка после смерти графини рассказывала о темном пятне и рубце, которые она видела на спине и

на плече графини, и о том, как незадолго до ее смерти к ней приезжали из Франции именитые французы, и графиня им открывала свою заветную шкатулку, а Смирнова, приятельница Пушкина и Гоголя в своих известных воспоминаниях пишет о графини Ла Мотт: «она никогда не расставалась со своей заветной шкатулкой».

Немой камень, без надписи над ее могилой в Старом Крыму навеки запечатал историю и имя этой таинственной женщины.

Горный Крым

Стоило только перевалить Яйлу и попасть в Байдарскую или Коккозскую долину, как характер не только природы, но и человеческого жилья сразу менялся. Там в татарских и греческих деревнях сохранился старый уклад жизни. Сельская тишина и простор так разительны после курортной жизни южного берега.

Паллас был в гостях у Меметша-бея в Коккозной долине и описал гостиницу, построенную беем для путешественников, гарем «в турецком вкусе» и красивую мельницу.

В мое время наследник Меметши-бея, Булгаков, сохранил лишь небольшую часть прежнего поместья, был очень гостеприимен и, как фамильную реликвию, показывал своим гостям шубу, подаренную его деду с «Екатерининского плеча».

Однажды утром я поехала верхом в Каралезскую долину навестить старую княгиню из рода князей Балатуковых.

Моя «байдарка» — горная лошадка, — осторожно цепляясь и лавируя между камнями, поднималась вверх горного перевала. Чем выше, тем реже попадались обработанные чаиры и табачные плантации — их

заменяли пастбища и леса, пахло чебрецом, горными полынными травами. Здесь в старину водились серны, олени, вепри, медведи, а теперь только в заповеднике кн. Юсупова великолепные светло-серые олени подходили к изгороди, смотря на редких верховых путников Яйлы.

На перевале среди буковых лесов спряталась маленькая татарская деревня Узенбашик, вдали от больших проезжих дорог.

На площади — мечеть, медрессе, кофейня и лавочка.

Перед мечетью сидят старики татары, некоторые в чалме, заслуженной путешествием в Мекку, отработавшие свою трудовую жизнь, молчаливые и важные.

В соблазнительной деревенской лавочке развешаны на веревке вышитые золотом разноцветные бахчисарайские чувяки и все, что нужно деревне с ее особенными вкусами: тонкие, как паутинки, платочки, красные фески, смушковые шапочки, ситец с фантастическими цветами, постолы, баранина, кнуты, веревки.

В лавке стоял покупатель: в белой рубахе, выпущенной из-под жилета, в штанах, заправленых в высокие голенища сапог, с расчесанными на обе стороны волосами. Он оказался орловским плотником, уже десять лет жившем в этой татарской деревне. Он делал мажары, деревянные колеса, ярма для упряжки волов. Обжившись в Узенбашике, хвалил татар, на жизнь не жаловался и, показывая на мечеть, рассказывал, как мулла отвел ему уголок в мечети, где он поставил иконку, лампадку и устроился на молитву. И татарин, слушая его рассказ, промолвил: «Алла один»... и посмотрел на небо.

В кофейне, куда мы все пошли пить кофе, было уютно. Молодой опрятный кафейджи разносил кофе отдыхающим посетителям, играющим в шашки и кости.

Меня спрашивают: откуда я, каков урожай в Байдарской долине, какие цены на фрукты, и неожиданно:

— Петербург был?

— Была . . .

— Стамбул был?

— Нет . . .

— А что больше?

— Петербург.

Татары цокают, качают головой и один из них говорит нараспев:

— Ай, ай, Стамбул да красив . . . такой город, как Стамбул, нигде нема». . . и ввиду бесспорного окончания разговора нахлобучивает свою барашковую шапочку с затылка на глаза и умолкает.

«Алла, Алла». . . — слышится тихий возглас, прерываемый зевком и вздохами.

Получив угощение, детвора наперерыв бежит отворять мне деревенские ворота на одном колесе и я спускаюсь в Каралезскую долину.

По обоим бокам ее тянутся одна за другой усеченные круглые белые скалы. Вот самая большая, а около нее такая же кругленькая маленькая. «Мама, я боюсь», — говорит маленькая, прижимаясь к большой. — «Не бойся, мое дитя», — успокаивает ее большая, и мать и дитя каменеют, чтобы не попасться чудовищу, гнавшемуся за ними по долине. Такова татарская легенда Каралеза.

Едешь вдоль серебристого Бельбека мимо беспрерывных фруктовых садов и видишь: высоко на скале сидит пастух-татарин в белой рубашке и красной феске, любуется своей родной долиной и слышится его гортанная о чем-то молящая песнь.

Вот показался в полугоре большой двухэтажный белый дом княгини, с резными деревянными балконами и террасами, построенный еще в ханские времена.

Комнаты в доме убраны по-восточному. В большой гостиной потолки расписаны зеленой и желтой краской, пол устлан коврами. По стенам — диваны с подушками, сплошь вышитыми золотом и пышными розами. На низеньких столиках на серебряных подносах закуски: сардины с крутыми яйцами, сыры, жареная форель и розовое варенье с густым кофе в маленьких старинных чашечках с видом Бахчисарая.

Мужчинам предложен кальян в серебряных кувшинах и длинные трубки, напоминающие наши помещичьи времена крепостного права. На стенах — тусклые зеркала в восточных деревянных рамах и шелковые коврики с изображением Ай-Софии и Стамбула.

На корточках у стены сидели слуги: один с подносом, другой с кальяном, третий уносил чашки. На наш приезд сошлись соседи, местные мурзы и расселись по рангу на диванах.

Княгиня была уважаема всеми за свой справедливый, непреклонный характер и широкую благотворительность.

Это была худощавая старуха с умным лицом и полуопущенными глазами. На ней были шаровары, вышитые золотом чувяки, темнокрасный бархатный кафтанчик, опушенный мехом, и чадра, вышитая серебром. Она была чрезвычайно гостеприимна и после потчевания зашел разговор о земских делах, об урожае фруктов, о ценах на табак и вспомнили «доброе старое время», когда табак давал огромные доходы.

Было много общего в характере русского и татарского помещика: ненужное обилие слуг, пренебрежение всякой работой и службой, кроме военной, страсть к охоте и лошадям.

Наверху, где прежде помещался гарем, девушки княгини, как бывало наши боярышни, почти не выхо-

дили из усадьбы и целыми днями вышивали и ткали полотенца, чадры, рубашки и пр. И какие это были чудесные рукодельницы!

Затворницы были рады появлению неожиданной гостьи, побросали работу свою и обступили меня, весело гуторя, с восхищением рассматривая и трогая невиданный ими мой европейский костюм амазонки.

Мы сошли в зеленый сад с грецкими орехами, розами и небольшим проточным прудом, где мелькали бархатные спинки с красными крапинками форелей.

А под вечер сын княгини офицер Крымского конного полка показывал гостям свои фруктовые сады, конюшни и своего любимого Арабчика.

Он был чистой арабской крови: светло-серый в «яблоках», с сухой маленькой головой, игриво перебирая точеными ногами, не знающими тихого равномерного шага; он танцевал на поводу молодого татарина, не спускавшего с него своих восхищенных глаз.

Арабчик нервно фыркал, косил на нас свой фиолетовый глаз и его ноздри пламенели на солнце.

Хозяин вскочил ему на спину и они понеслись по полю, и невозможно было поймать момент, когда Арабчик касался земли. Живая иллюстрация восточной сказки.

Я спала наверху, на диване около открытого окна. Внизу белели сакли и минарет Каралеза. Протяжно, сливаясь с тишиной, пропел муэдзин свою призывную молитву: «Алла . . . Нет Бога, кроме Бога и Магомет пророк Его . . .» И звезды, как лампады, мерцали на синем небе.

*

На другой день поздно вечером я вернулась в Байдарскую долину.

Из соседнего ущелья дул сильный ветер, нагибал огромные осокори у мельницы и заглушал веселый шум колес и заунывную песнь мельника Григория.

Беспокойный пришелец с севера, одинокий — «от бабы один сор в избе», — говаривал он. Работая на мельнице, он по ночам пел тенорком свои грустные русские песни:

«Не шумите сосны, не гудите ели» . . .

и его голос терялся в порывах ветра.

Из-за черной конической горы, похожей на Фудзияму выплывала желтая огромная, как медный таз, луна, так страшно низко над землей, не освещая долины. В черноте ночи она спала со своими долменами, каменными бабами, греческой церковкой и озисами татарских святых.

Судак. Коктебель

Летом 1910 года я поехала из Ялты навестить своих родителей, живших в Коктебеле около Феодосии у поэта Макса Волошина.

Наш пароход подходил к Судаку — по-русски древнему Сурожу, по-гречески Сугдее, по-генуэзски Солдая, — «великому торжищу древней Руси».

Легкие воздушные горы принимают реальные очертания, на пустынном песчаном берегу показались робкие одиночные дачки, а сбоку, загораживая вход в глубокую Судакскую долину, встали темно-бурые стены и башни Генуэзской крепости.

Великолепная декорация давно сыгранной, отошедшей в историческую даль, — вероятно, тоже великолепной пьесы!

Замолкли машины, наш пароход бросил якорь — мола не было — и от смолкнувших машин сразу стало тихо, и пароход закачался среди блестевшей на солнце

зыби голубого моря. Гулко раздались гортанные голоса из подъезжающей к нам лодки перевозчиков: турки и «долголаки» (Трапезундские греки), одинаково одетые в вышитые синие суконные куртки и шаровары, с красными фесками на головах.

Мы спустились в лодку и причалили к берегу около пыльной проселочной дороги, ведшей к пароходной конторе и далее вглубь долины.

У входа во двор конторы, этой, быть может, бывшей генуэзской фактории, стоять два древних каменных столба вместо ворот, — и на одном из них прикован черный орел. Он смотрит, не замечая нас, пристально своим грозным и хищным профилем на далекие скалы черного Карадага, вероятно, тоскуя по воле.

И встало в памяти чудесное прошлое Судакской долины, самой большой на южном берегу Крыма, издавна привлекавшей разные народы.

Новгородские купцы — ушкуйники — привозили по веснам в греческую Сугдею пушнину, янтарь, полотна и имели здесь свои гостиницы и торговые склады. При генуэзцах они вывозили в древнюю Русь венецианский бархат, бисер, китайский шелк и прочие, названные ими «суровскими», товары, а также вино.

Вот оно, местожительство Св. Стефана Сурожского, где он за сто лет до призвания варягов насаждал христианство, строил первые храмы, был просветителем края и участником 2-го Никейского собора 787 года.

Это было время иконоборчества, имевшего такое влияние на только что слагавшуюся веру древней Руси. В это время в Тавриде хозяйничали хозары. В Судаке их власть была мягка. Стефану Сурожскому в распространении христианства помогал хозарский наместник Юрий Тархан, сам христианин. В житии Стефана Сурожского говорится: «По смерти святого мала лет мину, прийде рать великая русская из Новгорода, князь Брав-

лин, силен зело, плени от Курсуня (Херсонеса) до Керчи.

Со многою силою прийде к Сурожу, за десять дней бишася зле между себе. И по десяти дней вниде Бравлин силою, изломав железные врата и выйде в град».

Далее рассказывается, как князь вошел в церков св. Софии, построенной Стефаном Сурожским, где он недавно был погребен. Князь, прельстившись покрывалом, вышитым драгоценными камнями и жемчугом, лежавшем на гробнице святителя, сдернул его, чтобы унести, и вдруг упал, пораженный падучей болезнью.

Князь крестился и возвращает все награбленное добро сурожанам. Рубруквич, высадившийся на Судакский берег в 1253 году, проездом з Золотую Орду к Батыю пишет, что в Суроже много церквей и гостиниц и что ему посоветовали ехать дальше, взяв в попутчики русских купцов.

Сугдея растет, богатеет, населенная русскими, греками, армянами, генуэзцами, татарами.

Богатую Сугдею грабил кто мог и население по возможности откупалось от кочевников данью, которую последовательно платило всем временным хозяевам Тавриды: готам, хозарам, печенегам, половцам, татарам.

Ее грабил Хоза-Булат и Мамай, убитый генуэзцами за грабеж их богатой колонии и похороненный в кургане по дороге в Салхат (Старый Крым). Димитрий Донской, воюя с Мамаем, берет себе в проводники десять сурожан, а разбитый им Мамай «добеже, идеже есть град Кафа» (Феодосия).

Вскоре после татар пришли в Крым венецианцы и генуэзцы, захватившие весь южный берег.

Первыми пришли в Судак венецианские купцы и открыли здесь свою факторию, в числе их был брат знаменитого Марко Поло. После упорной борьбы с вене-

цианцами, Сугдея была взята генуэзцами в 1365 году, они отстроили вновь старый греческий Сугдейский замок, возвели стену для защиты города и украсили стены и крепость своими гербами, эмблемами Св. Георгия и подписями.

В 1475 году турки разорили город, перерезали всех не успевших бежать. Уже не суждено было оправиться Судаку после турецкого разгрома. Турки заперли Черное море для иностранных кораблей, торговля пала, Судак захирел так, что при присоединении к России, представлял собой груду развалин.

С присоединением Крыма к России Судак становится излюбленным местом поселения первых помещиков русских, пришедших вслед за Екатериной в Крым к теплому морю, солнечному югу.

Первыми помещиками были Потемкин, Ревелиотти, Паскевич, Капнисты, принц Нассауский и другие. Приезжавший в Судак в 1825 году Грибоедов ночевал в доме своего приятеля барона Бодэ. Грибоедов писал о веселых домиках судакских помещиков.

С. Елпатьевский (см. Крымские очерки. Книгоиздательство писателей в Москве, 1915 г.) застал еще в этом доме остатки прошлого: «старинные — мебель, часы и зеркала, библиотеку, бюст Александра I с лавровым венком на голове, старые деревья и фамильные склепы». «В судакскую долину, — пишет С. Елпатьевский, — больше ста лет как проникла русская культура, дворянская, помещичья, старая культура . . . Кто знает точно, — заканчивает С. Елпатьевский, — когда возникла греческая Сугдея?»

«Здесь всё — сны, всё сонные видения».

Безлюдна и безмолвна была Судакская долина в то прелестное летнее утро, когда я высадилась здесь, — она казалась спавшей в розово-песочном тумане.

Кругом пустынная степь, где ветер гонит по полям сухую траву «перекати-поле».

Далее от Судака до Феодосии долины и морское побережье, мало посещаемые туристами, очень своеобразны и интересны, как в бытовом, так и в историческом отношениях.

Здесь более, чем где бы то ни было сохранился характер жизни татар ханских времен.

Татарские деревни огромны и богаты: на них не было желающих из свиты Екатерины II, здесь нет поэтому безземелья и отсюда татары не эмигрировали в Турцию за редкими исключениями.

Здесь все по-крымски: одни народы уходили, другие приходили на их места. В древние времена здесь жили тавры, греки, генуэзцы, и у долин Вороновской, Козской и Капсихорской была своя история, мало исследованная и еще не описанная. Пустынны их берега вдоль серенького пляжа, хрустально чистых мелких вод моря. Уютные долины покрыты виноградниками, фруктовыми садами, тутовыми деревьями. Здесь еще сохранилось шелководство, вывезенное татарами, вероятно еще из Персии, Китайского Туркестана, и местные татарки славятся своим рукоделием и вышивками. А также гостеприимностью. Вы встречаете их в глубине Капсихорской долины около деревни с детьми и кувшинами на плече: они идут от фонтана и приветливо встречают редких посетителей: их шапочки блестят монетками на солнце, а белоснежные домотканные рубашки с плетенными кружевцами пахнут свежим бельем.

В генуэзские времена судакские и феодосийские консулы-подесты имели здесь свои загородные виллы.

Долина Козы издревле была заселена греками и безымянные древние погребения и античные развалины сохранились еще до половины прошлого столетия, и француз, доктор Граперон, основавший Феодосийский музей древностей, — до Крымской кампании, — показывал археологу Дюбуа мраморный торс античной статуи женщини, найденый им в своем винограднике.

Коктебель. У Макса Волошина

Дача поэта и художника Макса Волошина стоит у самого пляжа Коктебеля, знаменитого своими камешками халцедона, хризопраза и пр., выбрасываемыми морем от подводных скал.

Голые камни Коктебельской долины, особенно его море — все окрашено в изумительный опаловый цвет, присущий только Коктебелю.

Здесь много дач писателей: поэтессы Аллегри, сестры философа Владимира Соловьева, доктора Манасеина, гр. Толстой, дочери бывшего президента Академии художеств, публициста-священника Григория Петрова, певицы Дейши-Сионицкой и Волошина.

На даче Макса Волошина, где я жила со своими родителями, С. Я. и Л. И. Елпатьевскими, было особенно шумно. В то лето там жили, кроме нас, поэт Гумилев, писатель Алексей Толстой с женой и еще одна художница, — кажется, кн. Оболенская, — которую все звали «Как ангел», так как она ходила в белом хитоне, перепоясанном на груди крест-накрест золотой тесьмой.

Вся компания жила своими фантазиями, по возможности претворяя их в жизнь.

Макс Волошин, скончавшийся в своем любимом Коктебеле, был очень образованным человеком, сумевшим сочетать свой «модернизм» с любовью к античности.

Он бродил по палевым холмам Коктебеля и черным вершинам Карадага, одетый в серый холщевый хитон, как Одиссей, с голыми ногами в сандалях, с посохом в руках: венок из душистых горных трав придерживал его пушистые пепельные волосы, обрамлявшие его широкое русское, даже скифское лицо. Он был добр и доверчив по-детски и далек от действительности. Мечтательно женился на художнице Сабашниковой, очень, кажется, подходившей к нему, мечтательно разошелся с ней и наполнил свой кабинет ее картинами, книгами, продолжая жить ароматом ее существования.

Граф Алексей Толстой, тогда только еще начинающий писатель, с русским породистым лицом, в косоворотке,катаясь на море в лодке, пел свои волжские песни и античная Таврида не имела на него воздействия.

Так же был далек от нее и, пожалуй, от России, поэт Гумилев. Прислонясь к мачте нашей лодки, он декламировал свои эгоцентричные стихи:

«Но нет, я не герой трагический,
Я ироничнее и суше.
Я злюсь, как идол металлический,
среди фарфоровых игрушек».

По вечерам жена Толстого, грациозная Соня, танцевала «танец волн», играя с морем, а Макс Волошин с художницей «Как ангел» писали свои этюды.

В большевистское голодное время Волошин варил свой знаменитый суп для всех нуждающихся своих собратьев.

Незадолго до своей смерти он написал знаменательное стихотворение, кажется, на смерть Блока.

Может быть и я такой же жребий выну,
Горькая детоубийца — Русь!
И на дне твоих подвалов сгину,

Иль в кровавой луже поскользнусь,
Но твоей Голгофы не покину,
От могил твоих не отрекусь.
Доконают голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной.
Умирать — так умирать с тобою,
И с тобою, как Лазарь, встать из гроба».

Ялта. Чехов, Горький, Куприн

Дачи, редкие в верхней части Ялты, были еще окружены пустырями, виноградниками, садами местных греков Аутки и татар Дерекоя, прекрасных садовников, наследственных хозяев Ялты, уже теснимых пришлым русским населением. Все реже спускались они с гористых своих садов и виноградников в нарядную, чуждую им курортную Ялту.

Прекрасна ялтинская зима! Горы покрыты снегом, а в саду на дачах цветут пунцовые, желтые розы, пахнет буксусом и зимоцветом, и море шлет свой терпкий, бодрящий воздух.

В январе в прозрачных лесах, окружающих Ялту, уже цветет золотистый кизил, и коврики темных фиалок и белых подснежников покрывают проталинки и обочины дороги.

Тихо бывало тогда в Ялте: сезонная публика уехала восвояси, и город преображался. В тихих улицах, на балконах белых дач слышались покашливания больных, и проезды в фаэтонах докторов говорили, что Ялта становится всероссийской санаторией.

Появились великолепные государственные и частные санатории, строились во множестве дачи, отели и пансионы, удовлетворяющие нуждам больных в солнце и защите от ветров.

Встречали пароходы, обсуждали, сколько больных приехало с севера морским и сухим путем, как протекает туберкулез в эту зиму, кого втихомолку, чтобы не пугать больных, хоронят ночью.

Наряду с санаторной жизнью развивалась деятельность недавно открытого ялтинского земства.

На одном из холмов города, в старинном одноэтажном домике поместилось управление уездной Ялтинской земской управы, возглавляемое почтеннейшим земским деятелем В. К. Винберг.

Низенький домик со стрельчатыми окнами смотрел в даль голубого моря. Старая глициния крепко обняла его своими могучими ветвями и покрывала весною сиреневыми цветами. В дни земских собраний здесь собиралась вся интеллигенция ялтинского уезда: приезжали помещики с женами, с желанием работать на просветительном и больничном поприще с непочатым запасом общественной энергии. Строили новый благоустроенный Крым.

И так как население Ялтинскаго уезда было преимущественно татарское, то оно становилось центром внимания земства, и гласные татары встречали особенно внимательное отношение к своим нуждам.

Строились дороги, земские школы, больницы, санатории, мечети; открывались почтовые отделения в глухих татарских деревнях и т. д. Весь южный берег вскоре застроился дачами, курортами, санаториями; на местах древних пепелищ человеческого жилья разбивались великолепные парки и вырубались древне-греческие оливковые рощи, живые свидетели античной Тавриды.

Так прошли пятнадцать лет тихой, большой, культурной работы. Страна росла, росли с ней и люди.

Севастополь давно залечил свои раны после Крымской кампании, обстроился, расцвел и стал в 1905 году ареной великих политических потрясений.

*

Начинались изыскания по постройке Южно-бережной железной дороги во главе с инженером-писателем Гариным-Михайловским. Он сам и его инженерный штаб разместились в уютном имении Кастрополь, древнем поселении античных греков, перешедшем при покорении Крыма к защитнику Севастополя графу Толю.

Барский дом был обставлен по старинному: круглый диван с цветами в жардиньерке, обитой красным плюшем, возвышался посреди гостиной, увешанной темными портретами. Спальни и детские выходили окнами в заросший, темный, сырой парк. Во флигеле и в верхнем этаже дома помещались чертежные, канцелярия и сотрудники Гарина-Михайловского.

С утра все разъезжались по работам нивелировки пути и собирались за многолюдным обеденным столом, веселые и оживленные работой. Все были увлечены постройкой и художник Петербургского Штиглицкого музея Н. З. Панов проектировал станции в своеобразном соответствующем местности вкусе.

В Байдарской долине наподобие ногайского шатра, в Ай-Тодоре в античном греческом стиле и т. д. В будущем в планы Михайловского, талантливого инженера-изыскателя, входила постройка железной дороги по берегу Крыма до Керчи с мостом через древний Босфоро-Керченский пролив, дабы соединить Крым с Кавказом.

После обеда все собирались на громадную каменную открытую террасу, и маленькие дочки Михайловского развлекали взрослых старинными французскими

песенками и танцами, а старшие мальчики вели бесконечные политические разговоры и споры.

Когда смеркалось, молодежь садилась на ступеньки террасы, пела русские и цыганские романсы, кто-нибудь тихо наигрывал на гитаре, а море шелестело и вздыхало у их ног.

*

И потянулись в Крым, особенно в Ялту, художники, артисты, писатели, ученые, общественные деятели и всяческая публика и, конечно, главным образом, больные. Можно сказать, вообще, редко кто не бывал в Крыму. Некоторые из них, как, например, Антон Павлович Чехов и С. Я. Елпатьевский построились и обосновались в Ялте, вошли в ее жизнь и нужды, основали местную газету. Оба были врачи, и оба писали воззвания и статьи о помощи Ялтинскому благотворительному обществу.

При содействии Елпатьевского была основана санатория для неимущих больных «Яузляр», а его жена заботилась о разнообразных нуждах, материальных и духовных, санатории.

На даче С. Я. Елпатьевского устраивались частные совещания членов Государственной Думы, и собирались приезжающие писатели и художники.

Художники «Мира Искусства» устраивали здесь свою выставку, а к Антону Павловичу Чехову приезжал в Ялту в гости в полном составе Московский Художественный Театр, спектакли которого давали столько наслаждения местной публике.

А. П. Чехов построил свою белую дачу на горе, над морем, как чайку присевшую отдохнуть на скале, и любовно занимался своим садом, в котором важно ходил за ним его ручной журавль и бегали два таксика Хина и Бром.

В ясные зимние дни Антон Павлович гулял на набережной, омытой шипящими волнами моря, в мягкой шляпе и темном пальто и неизменно отдыхал на скамеечке у книжного магазина Синани. Здесь проходила мимо него вся Ялта, умиротворенная после отъезда сезонной публики.

Уехала вместе со своей свитой Монтань-Руж, царица набережной, с нежной улыбкой на прелестном лице, носившая такую странную, якобинскую фамилию и давшая, кажется, сюжет чудесному чеховскому рассказу «Дама с собачкой».

Изредка по вечерам Антон Павлович приходил в темный со старыми кипарисами сад и, шурша по гравию, поднимался по деревянным ступенкам маленькой дачи к местному судебному следователю, оставившему свои научные занятия на севере из-за туберкулеза (Тугенгольд).

Там, в уютной столовой, под большим абажуром лампы, следователь рассказывал Антону Павловичу необыкновенные случаи криминальной жизни, и Чехов слушал их со своей мягкой, немного иронической улыбкой, и иногда слышался его низкий глухой голос. За самоваром сидела жена следователя, прелестная молодая женщина, не спускавшая своих лучистых глаз с писателя.

Давно это было . . .

А потом, в кабинете Чехова с камином, на котором Левитан нарисовал русский сенокос, с открытым большим окном, где видно было только море и небо, за письменным столом в глубине кабинета сидела Ольга Леонардовна Чехова-Книппер с пером в руках, а Антон Павлович ходил тихими шагами по кабинету и глухим голосом диктовал что-то.

К политике Чехов был равнодушен, относился к ней даже с некоторой брезгливостью, но он был глубоко предан общественности, земскому школьному делу и медицине. Известно, какую большую общественную работу он провел в своем Мелихове. Чуткий к чужим нуждам, он был добр активной добротой.

Но творчество его вскоре оборвалось преждевременной смертью.

*

Ярко освещенная белая терраса нашей дачи висела над группой черных кипарисов уснувшей Ялты, над темной далью моря, где от морской зыби маячили и качались фонарики на мачтах турецких фелюг.

И все еще снизу из городского сада доносилась музыка доигрывающего оркестра.

Высокая, стройная, особенно красивая в этот вечер Мария Феодоровна Андреева, в то время жена Горького, откинулась на белую колонну террасы и слушала, по обыкновению, молча наш спор.

«Декабристы жертвовали своей жизнью для блага народа, а рабочие борятся за свои права... Все же тут есть разница».

— «Ваши декабристы», — исподлобья смотря на меня, говорил Горький, — «буржуи, их программа мелко-буржуазна и ничтожна... Геройство?.. Вот и теперь, подумаешь геройство; ввязались мы — с неумытым рылом в войну с немцами, с людьми высокой культуры, и чем скорее они разобьют нас, тем лучше будет для России... Какая же вы спорщица«...

(Время первой всемирной войны, когда Горький издавал в Петербурге свою пораженческую газету).

Я поглядывала на его тяжелое, некрасивое, с глубокими складками, типичное лицо мастерового, на его добрые глаза, на его высокую складную фигуру, и мне

казалось, что говорит он не от себя, а повинуясь чему-то заученному, что заставляет его быть несправедливым и жестоким.

*

Квартира Екатерины Павловны Пешковой, жившей отдельно от Горького.

За чайным столом — мои родители, моя подруга, молоденькая Юленька Кольберг, Екатерина Павловна и Горький. Говорят о церквах и священниках. Горький в раздражении бранит «длинноволосых», а Юленька тихим голосом возражает: «Ну, Алексей Максимович, в теперешнее время, чтобы носить рясу и быть «длинноволосым», надо иметь большое мужество, даже геройство». Горький нервно, в раздражении барабанит пальцами о стол и мрачно замолкает.

Много лет отец мой, доктор, лечил Горького от туберкулеза большей частью в Ялте и, когда Горький опять расхворался в эту зиму в Москве, то просил моего отца навестить его, больного, так как отец отлично знал состояние его легких. Отцу не хотелось ехать: слишком круто разошлись они в большевистское время, но все же он поехал, как доктор к больному. После осмотра и указаний лечения, Горький приподнялся на постели и сказал: «Ах, все идет не так, как хотелось бы . . . Сергей Яковлевич, надеюсь, вы опять будете бывать у меня»? — и в его серых глазах сверкнули слезы, они охотно плакали. Отец молчал . . .

Больше они не виделись.

*

Золотистые лучи заходящего солнца вливались в большое «венецианское» окно кабинета моего отца, ко-

гда я вошла, усталая от дороги и радостная от свидания с родными.

Спиной к блестевшему морю, у окна, сидел Иван Алексеевич Бунин, молодой, скромный и изящный, любимец моего отца С. Я. Елпатьевского, уже напечатавший свой сборник прелестных рассказов, — а у стены, в тени, впервые пришедший к нам вместе с Буниным — Ал. Ив. Куприн, автор своей первой повести «Молох». Украдкой, я и Александр Иванович рассматривали друг друга в стенном зеркале, в котором отражалась картина темных гор Уч-Коша, а на подзеркальнике в бокале стояли белые подснежники.

И тогда уже, несмотря на застенчивую скромность, видна была купринская ненасытная жажда и интерес к жизни, — «ее» — как он говорил про себя — «величайшего поклонника».

Тогда, в ялтинском кабинете моего отца, Куприн был молод, жизнерадостен, с военной выправкой, с походкой в развалку и с застенчивостью офицера, жившего в глухом полку разгульной, полнокровной жизнью.

Это было время пребывания в Ялте Чехова, Бунина, Андреева, Горького, Вересаева, Арцыбашева, Скитальца, Мамина-Сибиряка, Михайловского и, наконец, Льва Толстого и многих, многих других.

Александр Иванович был со всеми равно приветлив и весел и в то же время держался особняком.

У него не было важности некоторых знаменитостей, чрезвычайно скромный и чрезвычайно свободолюбивый и даже неукротимый, он был лишен житейского тщеславия.

Была у него страстная любовь к Пушкину, изумление перед гением Гоголя, который, как он выражался, — «прошелся по земле, не касаясь ее, как Бог, — и не оставив после себя следов последователей». И осо-

бенно нежная любовь к Толстому, с которым мои родители и познакомили его в Ялте*).

И мне кажется, с Толстым у Куприна было много общего, недаром и Толстой любил отдыхать, читая Куприна. Оба они были одарены особым чутьем к жизни, тем ненасытным ее осязанием, сближавшим их обоих, и как писателей, и как людей.

Беженская жизнь сломила Куприна, пропала его веселость. Попав эмигрантом в победоносный Париж после первой всемирной войны, он писал мне:

«Париж вы не узнали бы. Он вовсе не наряден, не танцует, не острит. Война придавила и его, как и весь мир. Но зелен он так же, как и много лет тому назад. И тот же волшебный простор площадей, от которого глаза становятся ненасытными и крылатыми».

И уже проживши в Париже горькие годы беженства, он писал:

«Скажите мне, — у вас есть дар предвидения: буду ли, наконец, когда-нибудь богат? Нет, не богат, а так, чтобы прожить хоть год с душевным (подчеркнуто Куприным) комфортом, не думая ежедневно об ужасе завтрашнего дня. Я так измучился за всю мою жизнь. Ведь, чорт возми! Неужели я, я принужден буду сказать однажды «скверная штука жизнь» — я — ее благодарный обожатель, всепрощающий влюбленный, терпеливый, старый слуга»...

Далее о своей эмигрантской жизни он писал:

«Жилось ужасно круто, так круто, как никогда. Я не скажу, не смею сказать хуже, чем в Совдепии (подчеркнуто Ал. Ив.), ибо это несравнимо. Там была моя личность уничтожена, она уничтожена и здесь. Но там я не признавал уничтожающих, я на них мог глядеть и глядел с ненавистью и презрением. Здесь

---

*) См. Воспоминания Куприна о Льве Толстом.

оно меня давит, пригибает к земле. Там я все-таки стоял крепко двумя ногами на м о е й (подчеркнуто Ал. Иван.) земле. Здесь я чужой, из милости, с протянутой ручкой. Тьфу!»

Александр Иванович скоро сделался близким человеком нашей семьи и оставался таковым до смерти. Спустя 20 лет жизни в Париже он писал о моем родительском доме, посылая Елпатьевским Хуверовскую посылку в Крым в голодные годы. Он был в Париже уже знаменитый.

«Я чрезвычайно рад, что добрые «папаша и мамаша» могут получать посылки. Да и то сказать, на редкость они чудесные, прелестные люди. Гляжу я на них мысленно из нынешнего гнусного человеческого свинушника в милое прошлое, и не верится, что были такие прелестные лица и отношения.

Да, да, да! Славно, упоительно раньше жилось. Но счастья родины так же не понимаешь, как здоровья, как молодости.

Помните ли Вы вечера на Вашем балконе, когда мы с Сергеем Яковлевичем попивали в черной прохладе токмаковский «гренаш», а вдали по Черному морю струились серебряные рыбки? Ангел мой, самая сладкая пора нашей молодости протекала тогда — и какая невинная, легкая, светлая пора!»

В последний раз перед его отъездом на родину я пришла к нему известить его о кончине моей мамы, «милой мамаши», которую он так любил.

Александр Иванович, уже больной, молча, в волнении встал со стула, повернулся к образу и молился, и жена его мне говорила, что эта смерть его очень потрясла, и что лучше было бы не говорить ему о ней.

Вскоре Куприн уехал на родину, в свое любимое Гатчино, где так пахнут весной березы вдоль деревян-

ных заборов, где у него был свой особнячок с садом и огородом.

Через год он умер и был похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Баты-Лиман

Нас было много собственников имения Баты-Лиман, — что значит по татарски — Западный залив, — переживавших грозное революционное время в этом уголке южного берега Крыма.

Баты-Лиман, прижатый огромной каменной стеной к морю, пожалуй самое теплое зимой и самое жаркое летом место в Крыму. Многих приезжающих сюда гнетет эта нависшая каменная стена и может казаться, что вот-вот рухнет верхушка скалы Куш-кая и засыплет все живое в Баты-Лимане.

Высоко поднялись серебристые скалы над пропастью внизу раскинувшегося хаоса камней, над далекими бухточками и дачами, глядевшими в безбрежную синеву моря.

Там дико все, земля безплодна, и эта героическая красота, эта власть миров над человеком, всегда привлекали к себе людей, настроенных пантеистически.

Билибин много и любовно писал этот каменный хаос с редкими зелеными великолепными соснами, его прозрачное, голубое небо.

И каждая вершина скалы имела свою древнюю историю.

Налево, на высоком мысу св. Ильи, развалины древнего греческого селения и церкви византийского монастыря того же имени, — направо величавая скала Айя омывается морем, с остатками на вершине фундамента, вероятно, одного из храмов Дианы, исследованием которого так интересовались археологи.

Древние греки любили ставить свои храмы на вершинах приморских скал. И получил мыс Айя*) свое последнее имя от святого отшельника, поселившегося в пещерах его.

Еще не так давно, по словам греков, наших батылиманских рыбаков, в пещере скалы, высоко над морем жил отшельник на подобие первых христиан Крыма. Тропинка, высеченная с незапамятных времен из соседней Варнутской долины через перевал в эту пещеру, только недавно обрушилась и не так давно еще ходили по ней смельчаки над пропастью, прижимаясь к серым скалам, в расщелинах которых жили во множестве дикие пчелы, вероятно кормившие своим медом отшельника. И ушел этот человек от жизни, умер для мира, чтобы жить в вечности. Здесь, в пещере, высоко над темными водами морскими, все вековечно. Вековечно встает солнце в золотистом тумане у мыса св. Ильи, вековечно заходит в малиновом зареве за мыс Айя, когда все: и море, и глубоко лежащие берега, и скалы быстро окутываются в ночные тени и засыпают в черной ночи.

Тогда зажигал свою лампадку отшельник и свет ее был так дорог и спасителен рыбакам, застигнутым в бурную ночь в море.

Редкие люди, заходившие в пещеру после исчезновения святого, видели икону с лампадкой, вбитую в скале, лежанку, высеченную в камне, очаг в камнях и истлевшие остатки не то одежды, не то сена.

Давно погас огонек в скале и не маячит по ночам рыбакам-грекам, арендовавшим наше батылиманское море и платившим нам дань рыбой.

Чуть свет, уже сидит на вышке над морем пятидесятилетний Юра и смотрит в глубину морскую: куда

*) Святой — по-татарски.

и сколько идет рыбы? — кефали, скумбрии, султанки и дает знать, где ставить сети. «У Юры глаз — алмаз», говорили его товарищи.

Камбала и белуга близко не подходят, и их ловят на крючки в верстах двух от берега. По вечерам греки сидят у своего рыбацкого домика, починяют сети, рассказывают друг другу небылицы и коптят в землянках скумбрию. Из коптилки выносят десятками позолоченную ароматную рыбу, теплую и вкусную, и укладывают в ящики для отправки на Севастопольский базар.

Наш управляющий Баты-Лиманом, бывший мельник, почтенный Алексей Иванович, родом из Орла, не водил компании ни с греками, ни с татарами и жил одиноко в своем заправском каменном доме управляющего, куда приходили мы по вечерам отдавать ему свои поручения.

Он сидит, обыкновенно, за столом у окна, за которым чернели сосны и шумело море, и читает Евангелие. Ему помешали, он крепко держит пальцем то место, где остановилось его трудное чтение и, подняв свои очки, привязанные тесемкой вокруг головы, смотрит на вас, и улыбкой расцветает его лицо, если вы заговорите с ним о прочитанном. Здесь он черпал весь смысл жизни, все повеления Промысла Божия.

Утром Алексей Иванович брал «общественного» осла Мишку, навьючивал его мешками для провизии и почты и шел в сопровождении своего 12-летнего племянника за покупками и почтой в Байдары — нашу столицу.

Алексей Иванович шел и летом и зимой одинаково одетый в высокие русские сапоги, совсем не подходящие к местной каменистой дороге и жаре, в белой на выпуск рубашке, в черных штанах заправленных в голенища сапог, в жилетке с цепочкой от часов и в картузе на напомаженных, подстриженных под гребенку

волосах. Он считает непристойным ходить в татарских кожанных постолах, удобных и легких в горах, и не хочет ездить на тележке, запряженной ослом.

И не всегда все сходило благополучно в его походах.

У Мишки, большого, бурого осла, была подруга, белая маленькая ослица одного из наших дачевладельцев. Оба они, когда были свободны, бродили и паслись вместе по скалам, ущельям и ложбинкам Баты-Лимана, где пробивались горные источники и росла высокая, сочная трава.

Обыкновенно степенный осел шел впереди Алексея Ивановича, опустив голову, размеренным шажком. Но однажды, подходя к Баты-Лиману, он услышал призывный рев ослицы и бросился с мешками и шляпной картонкой, привешенной сбоку, через кусты и овраг к своей подруге. Алексей Иванович и художник Билибин, шедший на этот раз с ним, с трудом поймали взбудораженного Мишку с помятыми покупками, и остановились у одной дачи, дочь владельца которой ожидала получить из Петербурга новую шляпку.

Увидев помятую картонку, она ахнула.

— А где же дно?

Алексей Иванович смотрит на нее своими серыми, глазами, стучит палкой о шоссе и улыбается:

— А разве оно было?

Художник старается описать все происшествие в юмористическом духе, но молодая женщина с глазами, полными гнева и слез, с криком: «Проклятая интеллигенция!» убегает от них к себе на дачу.

Алексей Иванович очень смущен, а Билибин относит это восклицание к ослу и в восторге, подпрыгивая на ходу, спускается к себе на дачу.

И из-за племянника тоже выходили недоразумения. Мальчик убегал в Байдарах со своими сверстни-

ками в чаиры, где водились черепахи, в поля, на свободу, и позабывал о данных ему поручениях.

«Так нельзя, ваш племянник в Байдарах кейфует, а дела не делает», — мигая глазами, заикаясь, говорит Билибин.

«Это напрасно вы говорите, Иван Яковлевич! Мальчонка, действительно, озорной, балованный, что с ним поделаешь? Но не «кейфует». Этим делом он не занимается»...

Не спится в душные ночи Баты-Лимана: застывший воздух пахнет можжевельником и терпентиновым деревом; в открытые окна льется голубоватый свет луны, и видно мерцающее и блестящее море.

Не спить в такие ночи и Мишка. Он бродит по неогороженным еще дачам и часто приходит к нам. Слышно, как шуршит гравий под его торопливыми копытцами, и как он останавливается всегда на одном и том же месте в густой заросли сада и испускает вызывающий трубный рев.

Истомленному бессонной, жаркой ночью, ему, вероятно, нравится, как люди выбегают из дома с дрючками и палками и стараются прогнать его, неуловимого! Он поджимает свой круп, если как-нибудь через ветви его достает дрючок, но не трогается с места. Борьба с ним бесполезна и утомительна.

И уходишь по каменным ступенькам к морю, где глаза не могут насытиться лунной ночью, где свет и тени оживляют манящие профили скал, мимо которых проплыло столько племен и столько народов.

Пайщики Баты-Лимана принадлежали к артистическим, литературным и общественным слоям дореволюционной России.

Это были: артисты Московского Художественного театра — Станиславский и Сулержицкий, певцы Е. Я. Цветкова и Ян-Рубан; художники Билибин и Руднев;

писатели Короленко, Елпатьевский и Чириков; профессора М. Ростовцев, П. Милюков, А. Титов и В. Вернадский; общественные деятели: Фон Дервиз, Де Плансон, Н. Шнитников, Радаков, М. Петрункевич, П. Гукасов, А. Кравцов и другие.

Однажды, завтракая в ресторанчике на «Байдарских Воротах», я узнала от его хозяина, местного грека, что татары деревни Хайта в Байдарской долине не знают, что делать с купленной ими у гр. Мордвинова вместе с удобной пахотной землей, прибрежной скалистой полосой, негодной для их нужд.

В несколько дней мы нашли среди наших знакомых желающих купить «на паях» эту скалистую землю Баты-Лимана.

Уплатив всю стоимость купленной татарами земли у гр. Мордвинова (40 тыс. р.) отдав пахотную землю хайтинцам и отстроив им заново их ветхую мечеть, мы оставили за собой Баты-Лиман.

Таким образом, этот уголок Крыма послужил местом отдыха русской интеллигенции дореволюционного периода так же, как он служит в настоящее время, послереволюционной.

*

Поздним вечером, впервые добралась до Баты-Лимана, через перевал Яйлы, наша первая группа пайщиков.

Этот перевал был именно тем местом, откуда Екатерина II-ая любовалась Южным берегом, и говорила: «Крым — лучшая жемчужина в моей короне».

Проводники хайтинцы несли наши вещи по кручам и тропинкам, протоптанным бараньими стадами, спускавшимися с Яйлы в зимнюю вьюгу в теплый приют Баты-Лимана.

Часть наших спутников ночевала в рыбацком домике, построенном балаклавскими рыбаками-греками, а мы — М. Ростовцев, его жена, Софья Михайловна, неутомимая его помощница в археологических раскопках, подруга моей юности, Сулержицкий и я — прямо на мягком песке одной из многих уютных бухточек Баты-Лимана.

Мы спали и не спали под тихий шелест моря, к утру песок похолодел, и на заре мы услышали тявканье лисицы, пришедшей с лисинятами к берегу моря, вероятно, ловить прибрежную рыбёшку.

При виде нас, вся лисья компания быстро скрылась в хаосе прибрежных скал.

Все казалось нам чудесным в Баты-Лимане, и мы были в восторге от его приобретения.

Под вечер Сулержицкий — Сулер, — как его любовно звали сотрудники Художественного театра, — танцовал фанданго, подпоясавшись красным шарфом, с платком на голове и говорил о гениальности оперы «Кармен», которую поручил ему поставить в наступающем сезоне Московский Большой театр.

Сулержицкий был очень талантлив, как бывают талантливы иногда русские люди: беспредметно и во всем. Он воспринимал жизнь по своему, и она для него блистала особенными красками.

Кем он только не был, и куда только его не забрасывала судьба?.. Он побывал в тюрьме за отказ от воинской повинности, жил среди «духоборов», служил судомойкой у каких то «господ» в Алуште и рассказывал о своем странствовании на верблюде по древней Средней Азии, о звездных ночах пустыни, снимающих тяжесть жизни, ее мелочных забот.

Своей фигурой, манерами и благодушным юмором он походил на А. И. Куприна. Жизнь его была недолга, и он не успел построиться и пожить в Баты-Лимане.

*

Во время своего краткого пребывания в Баты-Лимане, М. И. Ростовцев почти ежедневно ходил в соседнее имение Ласпи, также купленное нами, в сопровождении своего юного помощника Мити Дервиза, и с большим увлечением начинал там археологические исследования.

Ростовцев говорил, что Ласпи лежит на костях древних людей и просил при рытье фундаментов для дач, внимательно смотреть, нет-ли археологических следов в данном месте и если есть — просеивать землю и делать фотографические снимки.

И, действительно, когда мы начали строить дорогу в Лапси и пришлось срезать один мыс, в разрезе обнаружилось кладбище со скелетами древних людей, лежавших один над другим в 3-4 яруса.

Недалеко от старинных белых домов «экономии», построенных при Екатерине французом, выписанным ею для посадки винограда испанских сортов — маленькое готское кладбище.

Около десятка надмогильных плит с высеченными на них инструментами: ножницами, вилами, лопатами, которыми пользовались при своей жизни готы, лежат под дубками, и дикий горошек покрывает старые, почерневшие плиты своими розовыми цветами.

*

П. Н. Милюков, один из первых, построил свою дачку на самом высоком участке Баты-Лимана, над глубоким обрывом, над главным пляжем.

Он говорил, что это его временный дом, а что потом он выстроит себе постоянный внизу, на своем прекрасном прибрежном участке.

Этого «потом» не было.

В Баты-Лимане по утрам, как шутливо говорил о нем Билибин:

«От всех волнений далеко
«Милюков пьет молоко»...

и... играет на скрипке. Большую же часть дня он работал над «Историей русской культуры».

Мы, батылиманцы, переживали тогда медовый месяц нашего устройства: все нас интересовало и особенно соседние имения, обворожительные не только своей красотой и уютом старых усадеб, но и историческим своим прошлым.

*

Однажды, собравшись вечерком на одной из дач, мы обсуждали план будущего благоустройства Баты-Лимана: пристани, тенниса и кладбища, и, к нашему удовольствию, П. Н. Милюков очень хорошо, шутя, нарисовал вход — в египетском стиле — в мою будущую могилу. Только вместо фигур степенных египтян, он нарисовал их танцующими, что соответствовало, по его мнению, моему характеру.

Я и Павел Николаевич решили через несколько дней пойти пешком по карантинной тропе, по берегу моря, вплоть до Кастрополя, где несколько лет тому назад я гостила у Гарина-Михайловского, когда он проектировал южно-бережную железную дорогу. Казалось бы такая необходимая для больных всей России, эта дорога никогда не была выстроена, не выстроена она и по сие время, и Южный берег, и Ялта оторваны от Севастополя и от России.

Я и Милюков прошли купленное нами, тоже на паях, большое соседнее имение Ласпи, Кампернию, так хорошо описанную экспедицией Демидова в 1837 году, чудесное Тессели Раевского-Плаутина, великолепный

Форос с известной церковью у Байдарских ворот, иконостас которой был написан художником К. Маковским, а завтракали в имении Данилевского, родственника известного писателя. Молодой хозяин служил земским начальником в селе Байдарах, а в имении хозяйничала его старушка-мать и сестра. Впрочем, хозяйства никакого не было. Голые холмы спускались до самого моря. Их домик, низенький и старенький, уже врос в землю. В комнатах было темно и неуютно, хотя хозяева жили здесь безвыездно и отказывали себе во всем, чтобы сохранить в целости свое фамильное гнездо.

Старая железная калитка, до которой они нас проводили, скрипела ласково, вероятно, не одному поколению Данилевских.

Далее имение Оливы в Мшатке — бывшего Керченского градоначальника, много сделавшего для развития виноделия и особенно для археологических раскопок бывшего Босфорского царства, — было уже в полном запустении.

Хозяева давно здесь не жили, а сторож-грек засевал окружавшие виноградники пшеницей и ячменем для себя и для своих кур; только кое-где столетние виноградные лозы чернели среди сухой и желтой травы.

А имение на редкость красивое! На высоком холме, над морем, со старинным барским небольшим домом; полукруглые большие окна и двери выходили на каменную террасу и смотрели вдаль внизу шумевшего моря. Дом со штучным паркетом был открыт через сломанные двери и окна и дождям и ветрам, и ящерицы шныряли по его гранитным серым камням.

И кругом — ни души...

Когда мы опять вышли на тропу, огибавшую мысочки над морем, Павел Николаевич сел на край дороги и взмолился: «Я не могу дальше идти без отдыха,

у меня сердце . . .». Я его уверяла, что никакого «сердца» у него нет, а что нам надо торопиться, чтобы засветло дойти до Кастрополя.

Мы прошли белую нарядную виллу с четырьмя башнями Кузнецовой, где подолгу жил поэт граф Алексей Константинович Толстой и писал:

«Приветствую тебя, опустошенный дом,
Завядшие дубы, лежащие кругом,
И море синее, и вас, крутые скалы,
И пышный прежде сад, глухой и одичалый.
Усталым путникам в палящий летний день
Еще даешь ты, дом, свежительную тень».

И другие прелестные его «Крымские очерки» в стихах.

Вскоре, дойдя до Кикенеиза, мы с радостью увидели у водопоя извозчичью коляску и наняли ее до Кастрополя. Пока извозчик поил и приготовлял лошадей, мы вошли в кофейню.

Солнце уже садилось, а мухи все еще жужжали, усаживаясь на потолке. Молодой щеголеватый «кафейджи» в шароварах, домотканной белой рубашке, подпоясанной красным кушаком, с феской на затылке курчавой головы, старательно вытирал наши чашечки и наливал нам густого и сладкого кофе.

Несколько татар сидели за столами, заложив ноги в чистых шерстяных белых носках на диван, и тихо разговаривали между собою, изредка громко зевая и призывая «Аллаха». Было уютно и забавно; в открытые двери кофейни изредка мелькали то запоздалый автомобиль, то коляска, спешившая в Ялту.

Когда мы вышли из кофейни, кругом было тихо, той особенной, чуткой тишиной, которая бывает вечером в горах. Потемнела серая каменная стена Яйлы и только фонтан струил свое мелодическое журчание . . .

И вспомнилась сцена из пьесы «Юлий Цезар» в Московском Художественном театре. Та же вечерняя тишина на маленькой площади Рима. Белая вилла Брута с темным кипарисом, такое же темно-синее небо, и фонтан так же струил свою воду...

Да и здесь также во времена древней Тавриды, этот драгоценный горный источник видел, вероятно, не только генуэзцев, готов, но и древних римлян, державших по всему крымскому побережью свои гарнизоны.

Отдыхая с удовольствием в коляске, мы спускались в быстро наступавших сумерках в Кастрополь и въехали в его сырой, уже совсем темный парк. Опять зашелестело внизу море, а из верхнего этажа старого дома неслись сладкие, о чем-то тоскующие звуки Шопеновского ноктюрна.

Вспомнился инженерный штаб Гарина-Михайловского, его милая молодежь, прошедшая жизнь и лица, ушедшие в темную даль, — и грустная музыка сливалась с грустными мыслями...

Двадцать пять лет спустя, в изгнании в Париже, сидя в редакции «Последних Новостей», мы с Павлом Николаевичем как-то вспомнили об этом вечере в Кастрополе, ушедшем тоже в далекую темную даль.

И. Билибин в Крыму

Задолго до революции Иван Яковлевич Билибин приехал из Петербурга в Крым еще полный восторга от Валдайских озер, Новгородских лесов, где он охотился каждую зиму, от Олонецких старинных деревянных церковок, от северных сказок, вышивок и платьев, собрав их в целый музей.

И, приехав в Крым и купив, по нашему наущению, вместе с нами, «на паях» землю у самого синего моря, долго повторял, что никогда не изменит своей любви к северу.

Он приехал в наш Баты-Лиман в начале нашего увлечения приобретенной землей, куда не было дорог, и куда мы, «пайщики», в сопровождении татар, несших наши вещи, спустились по тропинке к единственному рыбацкому домику, где провели нашу первую ночь.

А кругом стояла серая, серебристая стена гор, защищавшая наш вытянувшийся на три версты Баты-Лиман, — пожалуй, самая теплая часть южного берега Крыма. С запада горы кончались отвесной скалой Айя, что значит «святой», и где еще недавно в пещере жил отшельник, а наверху — развалины древнего храма, вероятно, по мнению археологов, одного из храмов Дианы. На востоке высилась зеленая гора св. Ильи, окруженная полянками со странными коническими скалками, которые Билибин назвал «сахарные головки», и которые любовно рисовал. Там же находилось древнее готическое кладбище с высеченными на каменных плитах орудиями их труда: лопатами, ножницами, вилами. Надмогильные плиты были покрыты вековым мхом и розовыми цветами лесного горошка.

Одна часть Баты-Лимана была загромождена громадой камней «хаосами», с зелеными прекрасными соснами над темными морскими водами и под голубым небом. И как прекрасны были эти пейзажи Билибина!

И все реже и реже вспоминал Иван Яковлевич свои Валдайские озера и все чаще и чаще забирался на окружающую Яйлу, где было так много развалин монастырей с одичавшими садами.

Билибину по жребию достался рыбацкий домик над морским обрывом. Он пристроил к нему свою мастер-

скую и зажил в нем со своей молодой красавицей женой, своей ученицей в Обществе Поощрения Художеств.

Все мы были в молодом восторге от покупки Баты-Лимана.

Мы построили заправский дом для нашего управляющего Алексея Ивановича, крестьянина Орловской губернии, купили ему осла для его поездок в нашу «столицу» — Байдары за почтой и провизией. Но Алексей Иванович считал для себя унизительным ездить в тележке, запряженной ослом, и шел рядом, обыкновнно в сопровождении Билибина. Во время выборов в Учредительное Собрание, когда все татарки Байдарской долины голосовали за эс-эров, Алексей Иванович, по рассказам Билибина, перелезая через забор, говорил: «Жаль кадетов, молоды еще и матерям беспокойство».

В то время гостила на даче инженера Кравцова приятельница моих родителей Надежда Валериановна, жена писателя Гарина-Михайловского, сестра нашего посла в Турции Чарыкова. И с нею два сына: старший Сергей — инженер, и младший — юный Тема.

Идем мы с Темой по живописной дорожке вдоль бухты и видим в ней качается на морских волнах прелестное розовое тело жены Ивана Яковлевича. «Какая прелесть», — говорю я. — «Семга», — говорит Тема, — «и брат мечтает на ней жениться . . .»

Мы садимся на спускающуюся к морю каменную лестницу и Тема декламирует:

Убейте Тему вы, как собаку,
Но сердце Темы кладите в раку,
Оно любило, страдало много —
Его могила — алтарь у Бога.

— Прекрасно, Тема, — говорю я, — у вас отцовский дар, — и беспокойные мысли об Иване Яковлевиче идут на ум.

Через несколько дней иду с Билибиным, и мы видим: лошадка его жены привязана к дереву и рядом с ней лошадь Сергея Михайловского. Красивое иконописное лицо Билибина побледнело и задрожало.

Бибилину пришлось пережит тяжелый период своей жизни. Его жена уехала с Сергеем в Туркестан, они поженились и у них родилось двое детей.

И вот вскоре после нашей доселе пасторальной жизни в Баты-Лимане началась революция, и как всюду, коснулась и нас. Начался голод, особенно свирепый в Крыму. Мы разводили овощи, особенно картошку и томаты, и ухаживали за нашими двумя коровами, и питались грозными слухами из Севастополя и Балаклавы, где начался грабеж.

Однажды меня сильно лихорадило, я ушла на пляж, на скамейку, где ветер обвевал мое горячее лицо. Я видела, как подплыла лодка с мужчиной и женщиной, как из нее вышел на пляж мужчина и в развалку морской походкой направился ко мне. Темный и грубый с татуированными руками в каскетке и бушмете, он обратился ко мне: «Где бы здесь, гражданка, поесть можно?» «У нас кроме молока, ничего нет», — отвечаю. Он пристально взглянул на мое лицо и сказал с досадой: «Да ты больная!» и, сплюнув в сторону, отошел по направлению к даче Билибина.

Я видела, как Иван Яковлевич отвел матроса на дачу писателя Чирикова, где, по словам Билибина, матрос их занимал забавными морскими рассказами, а когда начало смеркаться, послышался свист из лодки, и моряк, не попрощавшись с изумленными гостеприимными хозяевами, бросился к морю, сбросил свои чуваки на пляж, и босой добравшись до лодки, быстро скрылся с ней за мысом Айя.

Возвратившись домой, Иван Яковлевич нашел свою дачу в полном разгроме: его серебряные канделябры

17-го века, его костюмы исчезли в мешке спутницы матроса. Билибин был в отчаянии и отправился в Севастополь с жалобой на грабеж. Через некоторое время он был вызван в тюрьму, где уже сидел матрос, опознал его, и матрос был расстрелян за многие преступления.

Вскоре большинство из «батылиманцев» покинуло свою родину.

Билибин обосновался в Париже со своей другой ученицей на бульваре Пастера.

И думается: чудесная графика Билибина, его прелестные сказки заставили художников французов переключать свои иллюстрации детских книг на иной Билибинский прекрасный стиль.

Но им пренебрегали. Париж не давал ему работы, Иван Яковлевич был оскорблен и, приехав на Côte d'Azur и построив там домик, он часто вспоминал «героическую красоту» Баты-Лимана. Он не успел всмотреться в прелесть Прованса, он рисовал и здесь, но без вдохновення, начал писать портреты и в конце-концов уехал в Россию, в Академию Художеств, «желая еще поработать на родине,. еще поучить русскую молодежь»...

Условием своего возвращения на родину Билибин поставил отказ когда-либо и как-нибудь рисовать антирелигиозные рисунки.

При блокаде Ленинграда во время войны, когда умерло столько народу от голода, Билибин тоже сделался его жертвой.

Билибин заснул своим последним сном, засыпанный снегом на скамье у Исаакиевского собора.

БОЛЬШЕВИКИ В ЯЛТЕ

(Зима 1917-1918 г.)

Настала полуголодная зима.

Ели серые макароны, скупо жарили на «маргалках» оладьи на подсолнечном масле, ели хамсу — рыбёшку, которую в прежние времена в Балаклаве грузили целыми подводами для удобрения окрестных садов, вместо кофе жарили жолуди, вместо чая заваривали морковь с травами и шиповником, вместо сахара употребляли сахарин, от которого чай получал противный медно-сладкий привкус.

Чтобы разжигать маргалку ходили по окрестным великолепным сосновым лесам вплоть до Яйлы и собирали в мешки сосновые шишки.

Много думали о еде, как бы прокормиться на завтрашний день.

И пела Ялта тогда жалобную песенку:

«Цыпленок жареный,
Цыпленок вареный,
Цыпленок тоже хочет жить . . .
— Я не советский, я не кадетский,
Я — петушиный комиссар!»

Ялта напряженно ждала — одни со страхом, другие с надеждой и злорадством — большевиков.

Уже давно опустел базар; не слышно было веселых бубенчиков татарских лошадок, привозивших из горных долин Крыма сено, дрова, фрукты. Базарные торговки угрожали: «Вот наши придут!» — и, предвкушая их приход, начинали грабить. Одним из первых был разграблен Мордвиновский дворец в парке над базаром. Под вечер шоссе у подъезда дворца было покрыто осколками разбитых люстр и посуды, лохмотьями штофных шпалер, содранных со стен. Грабили дружно и настроение у толпы было радостное и возбужденное. Наш дворник объявил моей матушке, что он больше ни служить, ни качать воду не будет, так как назначен сотским в большевистский отряд, который выйдет ночью навстречу идущим из Симферополя большевикам.

На утро он пришел в кухню мрачный, опаленный порохом, с винтовкой в руках и рассказывал прислуге, как они засели за скалами по Массандровскому шоссе и обстреливали в тыл «татарву, шедшую против большевиков . . .»

Дворник посоветовал своим господам не ночевать этой ночью у себя в доме, так как ждали облавы.

В темную, осеннюю ночь ветер, срывавшийся не то с гор, уже покрытых снегом, не то с бушующего моря, охлестывал маленькую группу, спускавшуюся с Дарсановской горы в нижнюю часть Ялты. Дворник заботливо укутывал мерзнувшего моего мальчика в своих могучих руках и говорил раздраженно мне:

«Эх, что вы мне говорите? Я незаконный сын священника, у меня два вот таких сына в деревне под Киевом голодают. Что-же? Мне ваши кадеты дадут землю? Узаконят мою жизнь? Нет, уж я лучше пойду с нашими, с большевиками».

На другой день было ослепительное утро. Белая терраса нашей дачи как бы плыла в голубом воздухе

над серебристым морем. На террасе, как обычно, лежали больные в chaises-longues, положив головы на подушки, с пледами на ногах и многие с термометрами во рту.

Накануне вечером пришел в Ялту миноносец «Хаджи-Бей» с большевистской командой и отшвартовался у мола.

Больные любовались нарядным белым миноносцем, с блестевшими на солнце медными жерлами пушек.

Больные видели, как поворачивались их жерла во все стороны Ялты, зажигая солнцем золотые блики. Неясные, ласкающие звуки неслись снизу проснувшегося города в это чудесное зимнее утро.

И вдруг внезепный торжественный рокочущий выстрел с миноносца прокатился над городом и через несколько секунд мягко разорвался, как бы осел где-то.

Больные встрепенулись, бросились к перилам балкона, чтобы узнать «почему это?»

И вдруг прогрохотало второе «Ба-а-бах», как им показалось, над головой, и они увидели золотые жерла, направленные на Дарсановскую гору, где стояла наша дача. И вдруг сбоку где-то внизу рассыпалась ответная дробь пулеметов: то отвечали татары и белые добровольцы с балконов и крыш дач.

«Та-та-та» выстукивали пулеметы, и все жители нашей белой дачи бросились в самый нижний этаж и засели там за толстыми фундаментальными стенами.

Скучившись вместе, они тихо переговаривались и смотрели на стеклянное оконце двери, где при каждом выстреле загорался отраженный огонек, вылетавший из жерла пушки.

Бой крепчал. Все чаще мелкал огонек на оконце, все чаще и ближе, мягко оседая, оглушительно рвались

снаряды, и пулеметы уже не прекращали свою трескотню. И вдруг дача задрожала, что-то огромное свалилось и разорвалось, и тут же посыпались где-то близко камни, заглушенные обвалом земли. Громили соседний офицерский лазарет, и шестидюймовый снаряд разворотил его нижний угол.

Жители нашей дачи в перебежку, под градом пуль, перебежали улицу и укрепились в подвале нижней дачи.

Подвал был большой с железобетонным потолком, и беглецы почувствовали себя в относительной безопасности. Все разместились на сложенных в штабели дровах. Над всей группой властвовал маленький, толстенький делец: стараясь заглушить свой страх в чужом волнении, он умоляюще складывал свои короткие ручки и просил: «Только, mesdames, прошу не устраивать паники... Пожалуйста... Опасности никакой нет... Я уверяю вас». Все были спокойны, и странны были его увещания, а он сел между толстыми простенками арки играть в шахматы со студентом. Случалось, что снаряд пролетал по садику дачи, — темные листя зимоцвета бились вслед пролетавшей бомбы, а тонкие веточки жимолости трепетали и метались, припадая к земле.

К вечеру все стихло: перестали летать ухающие снаряды, перестали шить свой саван пулеметы.

И только по спуску шоссе в боковое окошечко было видно, как бежали одиночные темные фигуры, как опускались на одно колено и из их винтовок вспыхивал бледный огонек в сумерках, окутывавших уже город.

На утро опять забухали пушки, затрещали пулеметы. На даче было все съедено, и беглецы начали делать вылазку в свои старые жилища, принося все съестное, что попадалось под руку. Первой ушла моя мама, незаметно скрывшись из подвала и под градом пуль, как пчелы жужжавших и впивавшихся в каменную

грудь дома, умудрилась принести котлеты своему внуку.

Прошла еще одна тихая ночь, а под утро на третий день пришли какие-то женщины с корзинами для добычи и объявили, что всем жителям Дарсаны дано перемирие на два часа, в которое они должны оставить гору, так как она подвергается «специальной» бомбардировке.

Офицерский лазарет был совершенно разрушен, и большевики уже овладели набережной и нижней частью Ялты.

Наш маленький делец крепко ухватил свой драгоценный желтенький чемоданчик и первый выбежал из дома, за ним последовали и другие.

Выйдя на свет Божий, беглецы поразились видом разрушенной улицы. Напротив их дома оба балкона соседней дачи висели, сбитые со своих балок; в соседнем пансионе весь угол был разворочен снарядами, обнажив груду изломаной мебели и полуразрушенный рояль. Улицы были покрыты камнями и белой известью штукатурки, как бы после землетрясения.

Шли быстро по пустынным улицам, изредка встречая сестер милосердия на перевязочных пунктах и раз носилки с раненым.

В одном дворе удалось поймать извозчика и за солидную сумму нанять в Балаклаву ... В коляске поместились бабушка, внук с бонной, я и моя belle-soeur и маленький песик.Вещей никаких не было, кроме бидона молока.

Тихо поднималась коляска в гору по шоссе, обгоняя группу женщин, видимо, торговок с базара. Они внимательно осматривали едущих в коляске, и слышны были их враждебные слова: «Ишь, буржуйки ... бытто не видать, в платочках ... а собаченку свою везут ... бегут ...»

Чтобы сократить путь, мы подъехали к воротам Ливадии, царского имения, прося пропуска у стражи, уже стоявшей у ворот. От нее отделилась молодая женщина в солдатской шинели с красным бантом на груди.

— Бомбы не везете? — говорила она, обыскивая экипаж.

— Что вы? С ребенком — говорили мы в недоумении.

— Не пускать через ворота, — скомандовала она, и мы поплелись окружным путем через гору, пока не въехали в чудесный сосновый лес Ореанды и вздохнули свободно в его безмолвной тишине.

Мы ехали, не останавливаясь, 40 верст, вплоть до Байдарских ворот. Уже надвигались сумерки, усталые лошади в мыле и поту тихо поднимались в гору. Наверху перевала резиновые шины колес мягко шуршали по залежалому снегу, и ручейки в канавке ласково журчали, вызывая радостное ощущение прелести природы, и душа отдыхала от ужасов братоубийственной войны.

Ямщик, не гони лошадей!
Нам некуда больше спешить;
Нам некого больше любить!
Ямщик, не гони лошадей . . .
Все мрачно и грустно кругом,
Томителен долгий наш путь,
А прошлое кажется сном.
Ямщик, не гони лошадей . . .»

И робкий девичий голос бонны звучал грустно и неуверенно.

Вскоре мы вернулись в Ялту.

Однажды я очищала со своим маленьким сыном распускающиеся зимние фиалки, самые темные и ду-

шистые, — как стукнула калитка и вошел милицейский.

По распоряжению властей за неуплату «контрибуции», наложенной на буржуев при взятии Ялты большевиками, я приглашалась в комиссариат. Там я уже нашла около 30 человек таких же арестованных, как я, и вскоре всех нас под конвоем повели по Ялтинской набережной к Ливадийскому мосту, в гостиницу «Ореанда», где помещалась тогда «Чека».

Прохожие со страхом смотрели на непривычное шествие и предлагали внести за некоторых контрибуцию . . . Но было уже поздно. Перед подвалом гостиницы нас долго держали в запущенном и грязном саду. Я стояла на верхней ступеньке лестницы, ведущей в подвал и говорила часовому, стоящему подле, о народном представительстве, Учредительном собрании и пр. Он мрачно слушал меня и, наконец, буркнул: «Не надо нам вашего Учредительного собрания». . .

Огромные двери подвала отворились, и мы были загнаны внутрь.

Цементный пол был грязен и, видно, не мы первые были здесь. У стены стояла скамейка, на нее сели самые старые и среди них местный благотворитель, старик еврей, и две старухи, ялтинские дачевладелицы, молчаливые и неподвижные в черных шелковых капюшонах, похожие на вещих птиц. Матросы-большевики косились на них и посылали на «тот свет». Остальные заключенные ходили, стояли, некоторые садились на грязный цементный пол.

На мне было легкое кисейное платье, и напрасно мой отец принес пальто и одеяло и просил стражу передать мне. Я ходила взад и вперед, чтобы согреться. Все совершающееся, такое необычное, в этом мрачном подвале и неизвестность будущего взвинчивали нервы . . . В темном углу на полу сидел нарядный бухарец

в белом фланелевом костюме, красной феске, в зеленых шелковых носках, с большим изумрудом на мизинце. Положив руки на колени, он медленно покачивался взад и вперед в молитве с закрытыми глазами на сером от волнения, молодом еще лице.

Это был управляющий дворцом Эмира Бухарского. Мне было жаль его, и я сказала шутливо:

«Ничего... все пройдет... Ваш господин узнает, как вы страдали, как вы сидели за него в этом подвале и наградит вас! Он даст вам бухарскую звезду, осыпанную бриллиантами, и будет милостив к вам за вашу преданность».

Бухарец открыл глаза, в изумлении посмотрел на меня и сказал, отчетливо выговаривая каждое слово: «Спасибо, спасибо... Да наградит тебя Бог, и да будешь ты счастлива в своих детях за твою доброту и твои страдания»...

И шутка замерла у меня на губах...

Я поднялась на полати в другой угол подвала и, облокотясь на перила, ждала, что будет... и, к моему крайнему изумлению, увидела моего часового, несущего мне матрац. «Нате вам, отдохните, холодно на полу»...

Я опустилась на тюфяк, и ко мне подползла дама, а за ней студент. Дама жаловалась своему спутнику, умащиваясь подле меня: «Нашему роду 300 лет и никогда у нас никто политикой не занимался... и угодило меня приехать в эту подлую Ялту». — Сударыня», — успокаивал ее студент, — «вот я недавно вернулся с фронта; сидел там неделями в мокрых окопах и сверху капало, — а здесь сухо... потерпите».

Часа в четыре ночи перед рассветом, послышался шум снаружи, загромыхали железные затворы, и вместе с робким рассветом в темный наш подвал вошло несколько матросов.

Мгновенно в памяти воскресли подземелья колизея, инсценируемые на современный лад.

Матросы вышвырнули со скамейки старух и старика еврея... — «стыдно, нехорошо, — стыдил он их, — у меня уже внуки вашего возраста», — но матросы, не обращая на них внимания, начали вызывать по фамилиям заключенных, обвиняя их в саботаже и укрывательстве денег.

Когда дело дошло до меня, часовой сказал матросам: «Оставте ее, товарищи: она правильная». — «Так отправим ее на фронт — хлеба печь», — весело сказал один из них.

Дойдя до противоположной стороны подвала, матросы долго возились, допрашивали Окунева, содержателя гостиницы на базаре, и было жалко смотреть, как они дергали его за плечи, заставляя плясать, и как он выделывал в угоду им какие-то па. Через несколько дней его, — единственного из нас, — расстреляли.

Мы целые сутки не пили и не ели, но возбужденные нервы не давали этого чувствовать.

На рассвете нас вывели в сад гостиницы, окружив стражей, и приказали идти подметать улицы города. Боже мой, как мы были рады очутиться опять на милой земле, видеть безмятежное небо и ждать первых лучей восходящего солнца.

Мимо отворенных ворот мелькали редкие прохожие, и вскоре вошла работница с ведрами за водой. Она накачала воду из помпы, стоявшей рядом со мной и часовым, и, посмотревши на арестованных, унося воду, промолвила: «Ох, столько народу все забирают, забирают... Будь они прокляты: ни бедным, ни богатым от них житья нету».

Я не удержалась и, обернувшись к часовому промолвила: «Вот не знала я, что простой народ так честит вас».

Красноармеец переступил с ноги на ногу и сказал тихо: «Они и нам надоели, вот докеле», и показал рукой на горло.

Мы покидали Крым — последнее убежище прошлого, уходящего в историческую даль.

На палубе итальянского парохода и на молу, — толпа людей с детьми, вещами, мешками, чайниками. Развороченный людской муравейник суетится, бежит и, наконец, умащивается на палубе парохода. Ничего не объединяет эту толпу беженцев, над которыми гремит лебедка, утаскивая с мола в трюм неведомые тюки и товары.

На молу заплаканные лица остающихся, а с другой стороны палубы — синие вершины Яйлы, белые знакомые дачи, отдаленный шум экипажей на набережной.

Мы прощаемся, может быть, навсегда, с потемневшими силуэтами привычных и милых очертаний гор, с родными огоньками на набережной и на нашей белеющей даче на Дарсане.

Вечереет... Незаметно мы отделяемся от мола, слышатся последние крики провожающих, и пароход, потушив огни, выходит в Черное море.

Русская земля плывет назад и ее берега скрываются в темной дали.

С тоской в сердце я смотрела, на кипящие вокруг черные волны, и думала:

«Камо бегу от лица Твоего? И Ты везде со мною»...

Партенит

(Весна 1920 года)

Добровольческая армия покидала Кавказ и перебиралась в Крым, в свое последнее пристанище.

Вместе с ней эвакуировался из Новороссийска и мой муж, ослабевший от перенесенного сыпного тифа, и для его «поправки», мы переехали из Ялты в имение моего зятя, Б. Келера, в «Верхний Партенит».

С нами поехала и моя подруга Толстая со своими двумя мальчиками, ровесниками моего сына.

Наш большой белый дом стоял на возвышенности, среди Партенитской долины, и вид на зеленый Аю-Даг, опрокинутый всей своей массой в море, на татарскую деревню на приморской скале, на окружавшие дом фруктовые сады и виноградники — был восхитителен.

Сзади дома, на полянке среди рощи, неустанно гурлили горлицы, и неустанно было очарование их нежного пения.

Партенит... своим именем увековечивший место одного из древних храмов Девы Дианы!

Его развалины видели еще Паллас и де Рейни в 1803 году, а Потемкин увез две колонны с Аю-Дага в Херсон для постройки собора, в котором впоследствии был сам похоронен. На вершине Аю-Дага, среди зарослей граба, тянутся на довольно большом протяжении, образуя замкнутый прямоугольник, остатки стен, сложенных из больших глыб дикого камня... а одну мраморную колонну, может быть, храма Діаны, упавшую в море, буря выкинула на берег соседнего имения Карабах.

В 1912-13 г., при постройке моста близ лежащего курорта Суук-Су, рабочие наткнулись на шесть неразграбленных гробниц, где было найдено большое количество золотых ожерелий, диадем и колец — все древ-

не-греческой работы. Большинство было отправлено в Эрмитаж, где ими занята была целая витрина; часть распродана рабочими желающим, и несколько вещей отец моего зятя успел у них купить и передать впоследствии вместе со своей коллекцией картин Эрмитажу.

«При перекопках нашего виноградника», — говорил мой зять, — «почти каждый год рабочие находили монеты, кольца серебрянные, бронзовые, и раз нашли головную шпильку золотую с пятью красными камнями. Много античных монет мы с отцом находили в лесу Аю-Дага».

Пришли на смену античной Тавриды Средние века, и в VIII веке, в эпоху хозяйничанья в Крыму хозар, Партенит становится центром распространения христианства на южном берегу Крыма среди его язычников хозар и готов в лице прославленного епископа Готского и Партенитского Іоанна. Он приехал из Византии, где преподавал Закон Божий императрице Ирине в царствование Льва и Константина Копронимов.

У подножия Аю-Дага, на берегу маленькой речки, преподобный Іоанн построил храм имени апостолов Петра и Павла, и монастырь при нем с прекрасной библиотекой, и его ревностное распространение христианства и защита готов от хозар начались.

Здесь он был похоронен в алтаре храма. Остатки стен и мозаичного пола с надписью в пышном византийском стиле, капитель с колонной — остались памятниками блестящего прошлого Партенита и его архиепископа, память которого чтится православной церковью 26 июня.

В 1907 г. Археологическая Комиссия в лице Н. Репникова производила раскопки храма, — расходы были взяты М. Г. Раевской на свой счет, — и опубли-

кованы их результаты в книге Н. Репникова «Партенитская базилика».

Следующие раскопки в 1911 году открыли у алтаря храма золотые церковные сосуды, древне-греческие монеты и позволили предполагать, что вокруг храма был в древности расположен греческий город Партенополис.

Настали Новые века...

При присоединении Крыма к Российской Империи, Екатерина II раздала много крымских земель своим приближенным и знаменитый куртизан XVIII века и писатель кн. де Линь получил от нее в подарок древние места Никиты и Партенита.

Князь в восторге от знакомства со своими «вассалами»-татарами и от Партенита.

Однажды вечером, сидя в Партените у разбитой колонны, он пишет одно из самых замечательных своих писем — chef d'oeuvre эпистолярной литературы — маркизе де Куаньи «самой умной из моих парижских приятельниц».

«Здесь, в тени двух огромных орехов, старых, как мир, у подножья скалы, где еще виднеется одинокая колонна храма Дианы, из самой прекрасной и интересной страны мира, я Вам пишу это письмо.

Я сижу на турецком ковре, окруженный татарами, они смотрят, как я Вам пишу и поднимают на меня свои глаза, полные восхищения, как будто бы я был второй Магомет.

Фиги, сливы, оливы, черешни, абрикосы и персики все в цвету: они распространяют самый нежный запах и защищают меня от солнца; волны морские шуршат блестящими камешками у моих ног.

Я растягиваюсь на ковре, погружаюсь в раздумье... и чувствую себя новым существом.

Вдали от великолепия двух Императорских Величеств*), которых я оставил по другую сторону гор, вдали от празднеств мирской суеты, пресыщенный удовольствиями, я, наконец, чувствую себя самим собой.

Я спрашиваю себя, почему, не любя ни почести, ни деньги, ни милости, ни стеснения, — я провел мою жизнь при дворах всех европейских государей? Я вижу, что могу быть счастливым только в независимом покое.

Обаятельная, доверчивая простота Екатерины Великой (La Grande) меня покорила, а ее гений привел меня в эти очаровательные места . . .

Ночь будет прекрасна; море тихо, поверхность его гладка, как зеркало. Вечер удивительный, и я чувствую такую же ясность мысли, какая царит на небесах и на морской глади.

Недалеко отсюда, в Херсонесе, я собирал остатки колонн, я видел там развалины акведука и стен, которые длиннее Лондона и Парижа вместе взятых*). Оба эти города исчезнут так же, как Херсонес. В нем были те же интриги любовные и политические. Многие в нем думали тоже совершить необыкновенное, что могло бы изменить мир, а между тем, даже имена в этой стране извращены Татарией, и Крым давно предан забвению.

Прекрасные размышления для господ, правящих миром!

Обернувшись, я одобряю лень моих милых мусульман. Они сидят на крышах домов, скрестив руки и ноги.

Я нахожу среди них одного албанца, который знает немного итальянский язык. Я прошу его спросить та-

---

*) Екатерины II и Австрийского Императора.

*) Херсонесская республика вплоть до Балаклавы была вся обнесена стеной.

тар, счастливы ли они, могу ли я быть им полезен и знают ли они, что Императрица отдала их мне?

Они мне передают, что в общем они знают, что их поделили, но не понимают хорошенько, что это значит; что до сего времени они были счастливы и что, если станут несчастными, то сядут на две большие фелюги, построенные ими самими, и убегут в Турцию.

Я прошу им передать, что я люблю ленивых, но что я хотел бы знать, чем они живут?

Они мне указывают на стадо баранов, лежащих на траве, как и я, и я благословляю ленивых.

Они указывают мне на фруктовые сады и говорят, что когда фрукты поспеют, «каймазан» приедет из Бахчисарая, увезет половину урожая на продажу, и что каждая семья продает фруктов на 200 рублей ежегодно. Они прибавляют, что в Партенитце — так зовут они Партенит — и в Никите, — другом небольшом имении, мне принадлежащем, греческое название которого обозначает «победа» — всего 46 семейств.

Я благословляю ленивых, я им обещаю защищать их.

Они приносят мне масло, сыр и молоко, совсем не кобылье, как это водится у ногайцев.

Я благословляю ленивых и опять погружаюсь в мои размышления.

Еще раз спрашиваю я себя, что я здесь делаю? Императрица мне предложила ее сопровождать в зачарованный край, которому она возвратила его античное имя Тавриды, и во внимание к моему влечению к Ифигении, отдала мне место храма, в котором дочь Агамемнона была жрицей.

И я опять мечтаю и делаю проекты. Пресыщенному всем изведанным, почему бы мне не остаться здесь? Я обращу в свою веру этих мусульман, научив их

пить вино, я построю дворец, который светил бы далеко в море мореплавателям.

Какая досада, — думаю я: преследование античной религии уничтожило эти прекрасные остатки культа богов, такие драгоценные для фантазии и воображения.

Уже падают ночные тени и начинают покрывать землю. Муэдзин с высоты своего минарета призывает к молитве.

Я ищу левой рукой свою бороду, которой у меня нет, я прижимаю правую руку к груди и благословляю ленивых.

И я ухожу от них, и они с удивлением смотрят на меня, своего господина, и слушают о том, что я хочу их оставить свободными...

Я с грустью смотрю вокруг себя, на эти прекрасные места, которых я никогда больше не увижу, и которые подарили мне самые восхитительные дни моей жизни.

Свежий ветер, вдруг поднявшийся, отвратил меня от мысли ехать по морю на шлюпке в Феодосию, и я еду верхом на татарской лошадке, чтобы через 48 часов нагнать Их Императорские Величества.

Императрица оставляет в каждом городе более 100.000 рублей на подарки, балы, фейерверки и иллюминации на 10 лье в окружности. Она говорила, что ее обязанность «благодарить и вознаграждать».

Такова сложная историческая эволюция этого миленького Крымского местечка.

В двадцатых годах прошлого века Пушкин гостил в Гурзуфе у своих друзей Раевских, которым принадлежал Нижний Партенит и Карасан. Плененный античной и магометанской красотой Крыма, он написал ряд своих чудесных стихотворений.

М. Н. Раевский, сын друга Пушкина и племянник воспетой Некрасовым княгини М. Н. Волконской, жены декабриста, в собрании своих стихов пишет о Партените:

«Где скифы? Где тавров воинственных внуки?
«Где готы, владельцы прибрежной земли?
«Как детская сказка, как праздные звуки,
«Забыто их имя, исчезли следы.
«И новые люди, и новое племя
«Пришли, уповая, что каждый нашел
«Отчизну надолго, — но пробило время,
«И взвился над Таврией новый орел!»

Мы спускались в «Нижний Партенит» через наш парк, давно посаженный ботаником Никитского сада, Гартвисом. Невиданные гибкие и высокие деревья с сиреневыми цветами, в перемежку с пальмами, окаймляли нашу дорожку, спускавшуюся к Партенитскому пляжу, где мы купались в море вблизи руин церкви Іоанна готского.

Тихо и пустынно было в Нижнем Партените и Карасане; Раевские уже покинули свои имения, так как никто не верил, что генерал Врангель может отстоять маленький Крым от Красной армии огромной России.

Виноградники и сады были заброшены и не окопаны за отсутствием рабочих рук, и отличная винодельня, оборудованная отцом моего зятя американскими машинами, бездействовала. Было голодно: ели хамсу — маленькую рыбешку, сушили ее, толкли и из ее муки делали лепешки вместо хлеба. Крупную рыбу не ловили: старые сети износились, а новых не было. Ждали с нетерпением нового урожая овощей и фруктов.

В горах и лесах Яйлы прятались «зеленые» — дезертиры Добровольческой армии. Они делали набеги

на соседние селения и на проезжающих по шоссе, дабы добыть себе пропитание. Мы скоро познакомились с ними.

Однажды, когда наши мужчины уже служили в Ялте, и мы были одни с детьми, в нашу большую столовую вошел староста деревни Партенит, важный в своем черном суконном кафтане, в чалме, шитой золотом. Он нам сказал, что в их деревню спустились «зеленые» с Яйлы и ходят с мешками и собирают пропитание и прибавил, что советует моей дочери не оставаться в ее большом барском доме, а идти лучше к нему в деревню. Мы были тронуты его заботливостю, и было решено, что дочь отправится в сопровождении управляющего к старосте, а я, Толстая и дети перейдем ночевать в дом нашего управляющего.

Наши мальчики, воинственного возраста, в восторге и от необычайного ночлега и от ожидания «зеленых», о которых они так много слышали, схватили свои подушки и мчались через двор в дом управляющего; а моя дочь собралась в деревню, когда совсем уже стемнело. Но на половине спуска она наткнулась на ствол винтовки, торчавшей из под куста и в ужасе бросилась бежать обратно к нам.

На беду, кто-то протелефонировал в Гурзуф, прося прислать милицию.

Очень скоро мы услышали тяжелые солдатские шаги под окнами дома, и вдруг на террасе появилась перед испуганной женой управляющего юркая, не солдатская, фигурка, влезшая на терассу по стволу старой глицинии и спрашивающая — «где господа ? . .»

А через парадную дверь уже входил солдат с винтовкой. Мы ввели солдата в контору и предложили ему хлеба и хамсы, расспрашивая его об их житье-бытье на Яйле. Солдат жаловался на холод и голод:

«нельзя костра зажечь, — как увидят снизу, так и начинают палить на огонь и на дым».

Я и Толстая уговаривали его бросить их житье, перейти на легальное, обещали ему защиту и работу у нас по окопке виноградника.

Он слушал внимательно, но когда я обмолвилась: — «Вместо дезертира, будете сельским рабочим» — он быстро вскочил, стукнул ружьем об пол и закричал: «Я не дезертир, почему я дезертир ? ! »

Мы старались его успокоить и, нагруженного мешками, поскорее выпровадили в темную даль. «Да не идите по шоссе», крикнула я ему вдогонку, — «милицию встретите, идите вдоль забора по тропинке»... Только что он вышел, дверь опять отворилась, и мы в ужасе увидели перед собой татарина-милицейского с винтовкой и наганом за поясом и ... ждали выстрелов, борьбы ... Но глаза татарина весело смеялись из под каракулевой шапочки ... «Зеленых видели?» — спросила с удивлением я. «Видели ... поздоровкались ...» улыбаясь, сказал он, и страшная тяжесть отлегла от сердца.

Но на другой день мы все же уехали все в Ялту и там узнали, что «зеленые» опять приходили к нам, напали на вино в подвалах, перепились и начался грабеж дома ...

А через год от нашего Партенитского дома не осталось камня на камне среди голого, опустевшего двора: его разнесли соседние деревни на свои нужды.

Таково было время.

«Горная Щель» Бакуниных

(Лето 1920 г. перед эвакуацией)

Вернувшись в Ялту, мы поселились вблизи ее в Бакунинском именьице «Горная Щель».

Здесь жизнь была незаметнее, чем в городе, и можно было прокормить нашу корову почти круглый год на подножном корму.

«Горная Щель» хорошенькое именьице в ущелье Уч-кош. Табачная плантация, зеленые лужайки с горными источниками сменялись в глубине ущелья ореховыми рощами, а далее и выше великолепными сосновыми лесами Удельного лесничества.

По другую сторону ущелья, напротив дома Бакуниных, на холмах видна была вся татарская деревня Ай-Василь, древнее убежище тавров, готов и, вероятно, киммерийцев, предмет особого внимания историков. На дне ущелья древние грецкие орехи, груши и черешни сохраняли прохладу даже в самые жаркие дни.

Через ущелье поднимаешься в Ай-Василь; наверху, на площади, стоит мечеть, около нее на скамейке греются на солнце старые важные татары, многие в чалмах, заслуженных путешествием в Мекку, отработавшие свою жизнь, и обсуждают все общественные дела.

На эту площадь выходит калитка белой каменной стены, окружающей дом багатого татарина, арендовавшего землю Бакуниных «под табаки».

Задвижка калитки будила старого пегого пса «Чабана», он беззубо глухо лаял, и мимо вас стремительно пробегали девочки, блестя золотыми монетками на фесках, и появлялась молодая хозяйка с кофейницей под мышкой, всегда нарядно одетая в красных шароварах с цветами, в чувяках и чадре, вышитых золотом. В комнатах прохладно, чисто, медная бахчисарайская посуда блестит, расставленная на полочках. Особенной гордостью была маленькая электрическая батарея, слабо зажигавшая лампочку над очагом.

Дом окружен фруктовым садом с аллейками, подметенными, как глиняные полы в доме, и обсаженны-

ми розами, сантифольными, из которых в Болгарии, в знаменитой казанлыкской долине, делают розовое масло, а в Крыму татарки варят чудесное, душистое варенье. В саду растут особые ай-васильские персики, абрикосы, винные ягоды; за садом в гору тянутся табачные плантации.

Мы сидим на деревяном чистом полу площадки сада, откуда видны безбрежное небо-море и раскинувшаяся внизу Ялта. Сбоку сараи, где висят для просушки папушки табака и молодые татарочки и мальчики нанизывают на длинные иглы его липкие пушистые листья.

Я и моя подруга гр. Толстая в весьма затруднительном положении: на деньги ничего не продают, и мы сговариваемся с хозяином посылать наших 7-8 летних мальчиков «вязать папушки» в оплату за персики и абрикосы.

Наши хозяева «Горной Щели», Павел Александрович Бакунин, младший брат знаменитого бунтаря, и его жена Наталья*), давно померли, оставив после себя старый дом с прогнившими уже террасами и балконами, бассейном с фонтаном, обсаженными Павлом Александровичем плакучими ивами, и свою могилу-склеп на зеленой веселой лужайке под леском. Над склепом маленький алтарь с сухими цветами в вазочках и надписью: «Блаженны алчущие и жаждущие правды — ибо они насытятся».

После их смерти осталась большая библиотека Павла Александровича — он был философом, — и переписка его жены друг с другом и друзьями во вкусе Герценовского кружка — интимная и романтичная. Эта переписка была разработана и опубликована в «Русской Мысли» Ал. Ал. Корниловым.

---

*) См. Воспоминания С. Я. Елпатьевского о П. А. и Н. А. Бакуниных.

В наше время «Горной Щелью» владели племянники Бакунина: один, уехавший с семьей из Крыма, другой Мишель, офицер Добровольческой армии, только что убитый на Кавказе. Хозяйкой осталась его вдова француженка Марго Бакунина, воспитывавшаяся в сиротском монастыре под Парижем и привезенная оттуда Мишелем, обучавшимся в Париже живописи. Хрупкая и нежная с правильными, закругленными французскими чертами лица, она сразу отдала свое сердце Мишелю, а свою душу России.

Мишель привез ее прямо из Парижа в Бакунинское гнездо Тверской губернии, свято хранившее дух своих пенатов. Там молодая жена Мишеля водила хороводы на деревне с деревенской молодежью, вдыхала прелесть северной природы, березовых рощ, голубых озер с незабудками, и полей ржи, с васильками и жаворонками. Все ей было мило там, и она ездила по уезду и собирала старинные вышивки, лоскуты парчи и кички XVI и XVII веков, еще недавно хранившиеся во множестве в крестьянских сундуках Тверской, Новгородской, Псковской и других губерний.

В «Горную Щель» Марго попала после крушения Добровольческой армии на Кавказе, после гибели своего Мишеля, и «Горная Щель» была ее последней пристанью. Она говорила, что так устала бежать куда-то, так не хочет отрываться от дома своего мужа.

Она сдавала нам низ дачи, а сама жила наверху ее вместе с женщиной-врачем, с которой она работала, как сестра милосердия, в соседнем лазарете, в заразном отделении, как более опасном.

Женщина-врач была веселая здоровая женщина и ее раскатистый смех часто раздавался на верхнем балконе, где они обе пили вечерний чай. К нам Маргарита Александровна Бакунина спускалась грустная, с трудом поддерживая разговор. Она играла на рояле или

кормила недавно вылупившегося цыпленка, жившего между рамами окна нашей гостиной, цыпленка без матери, согреваемого только лучами солнца.

Однажды утром она прошла мимо нашей терассы, где мы пили чай, совсем больная, и мы с удивлением смотрели на ее высокую, стройную фигуру в белом халате: она шаталась и еле переступала ногами и несмотря на наши протесты продолжала путь к больнице.

Наша общая прислуга, старая экономка Бакуниных Никитична рассказывала, как, убирая ее постель, она нашла под подушкой револьвер, и докторша говорила, что Маргарита Александровна приняла веронал . . .

В своем письме, оставленном в столе, впоследствии найденом, она писала по-французски:

«Ложась спать, я долго смотрела на мой любимый бюст Вольтера — символ родной Франции, и не знала, что сказать ему. Я приняла веронал, — кажется, слишком много . . . взяла портрет Мишеля, легла и долго говорила с ним. Я ждала смерти, я звала ее, но она не приходила.

Так настало утро, и добрая Никитична принесла мне кофе».

Через несколько дней Маргарита Александровна оправилась и опять начала по вечерам играть на рояле.

Я предложила ей на утро пойти в Ай-Василь за абрикосами для сладкого пирога, который мы пекли поочередно, но она тихо сказала: «Нет, завтра я никак не могу, не могу идти». . . Мы решили отложить нашу прогулку, с утра наша семья ушла в Ялту.

В наше отсутствие Маргарита Александровна взяла ванну и попросила Никитичну вынести складную постель моего маленького сына в сад на полянку, откуда видно море и отослала ее в госпиталь за обедом.

На постельку, вместо подушки, она положила стопку своих любимых книг, вместо белого платочка

сестры милосердия надела старинную кичку, шитую жемчугом и золотом, легла и приготовилась . . .

Возвращавшаяся с обедом из госпиталя Никитична, открывая нижнюю калитку сада, услышала выстрел . . . Быстро поднявшись, еще издали она увидела странно вытянувшееся тело Маргариты Александровны, и все поняла.

Она видела, как бедняжка опустила руку от щеки на грудь, и как пошевелились пальцы ее ног в сандалиях. Никитична подняла ее руку, кровь сочилась пятнами на груди и револьвер выпал из разжатых пальцев.

Все было кончено.

Марго похоронили в Бакунинском склепе на зеленой полянке, и ушла туда молодая жизнь, не хотевшая расстаться со своим прошлым счастьем.

ВОЙНА

Псковская губерния — древнерусская земля! Поселок Новосокольники широко раскинулся с бревенчатыми домиками по обе стороны железнодорожного полотна Московско-Виндавской железной дороги. Кругом поля, окаймлённые лесами с озерами, большими и малыми, и прудами дворянских усадеб. Помещичья губерния! И местные крестьяне жаловались: «все помещичьи земли кругом». Эти усадьбы с большими белыми барскими домами ампирного стиля, с колонами и балконами, выходящими на пруд и парк, были чудесны.

Недалеко от поселка и было такое имение одного из мимолетных фаворитов Екатерины II, купленное местным торговцем. Новые хозяева жили в трех нижних комнатах, рядом с кухней, а весь верх, антресоли, где жили помещичьи дети с нянькамии и учителями, столовая, библиотека, выходившие на терасу и озеро, были заколочены. В них остались еще книжные шкафы и буфеты, вделанные в стену, и огромные диваны на львиных лапах стояли по стенам. В углу столовой холмом возвышалось ссыпанное зерно.

Тихо и грустно было на заброшенной террасе: пруд поблескивал на солнце и старые березы в парке шелестели тонкими ветвями.

Другое имение, где еще жили помещики Чагины, было совершенно во вкусе Ларинской усадьбы. Дом выходил в сад; комнаты небольшие, залитые солнцем, обставленные старой мебелью, были полны картин, фарфора и серебра. Сзади дома — амбар с колоннами и не-

подалеку церковь с великолепной люстрой, слишком большой для комнат старого дома и потому отданной в церковь.

Владельцы имения выезжали в английском кабриолете с бритым кучером в цилиндре.

У самого железнодорожного пути станции Самолуково стоял заколоченный дом декабриста Пущина, друга Пушкина. Сюда часто приезжал поэт, а теперь кругом дома лежали штабели шпал.

Большинство помещичьих домов, особенно больших, было полуразрушено и доживало свой век с новыми хозяевами из купцов Лопахинского типа. В них много еще осталось старинной мебели, драгоценных картин, особенно в глухих углах, вдали от железной дороги. И крестьянки сохраняли в своих сундуках древние синие сарафаны из крашенины с серебряными пуговицами в виде бубенчиков и кички, иногда шитые мелким жемчугом.

Псковская губерния своеобразна, как своеобразна каждая губерния великой России, и здесь так еще живы Онегинские времена, так много замечаешь местного колорита Пушкинской поэзии.

Перед первой всемирной войной здесь все еще жило по старому, вековечному укладу жизни, обманчиво сонной, нерушимой жизнью. И хотя война была уже объявлена, но она некоторое время не давала себя знать. Еще всего много было на базаре; в местной школе по-прежнему учителя и учительницы ставили спектакли и устраивали дозволенные и недозволенные доклады и «прения». Учитель, худенький брюнет, боявшийся начальства, уныло и озабоченно мне повторял: «Как бы чего не вышло . . .» а его приятельница, веселая, краснощекая учительница, ничего не боявшаяся, составляла вместе с местным аптекарем «кадр» грядущей революции.

Война застала на первых порах Россию врасплох. Страна, а особенно военное ведомство, не была готова к ней, и вот как раз в это время, мой муж, инженер путей сообщения, получил назначение в Новосокольники, важный железнодорожный узел, через который проходили с севера и востока войска на Западный фронт.

Когда мы приехали туда с нашим двухлетним сыном, зима уже началась и все — железнодорожная насыпь, поле перед домом, двор и сад — было покрыто голубоватым пушистым снегом, лежавшим шапочками на стеблях высохших цветов под окнами нашего коричневого длинного дома. А в нашей оранжерее цвели в корзиночках орхидеи, спела земляника и показались почки на сирени, приготовляемые к Рождеству нашим садовником Иваном Карловичем. Он объехал весь свет и привез из заморских стран любовь к диковинным вещам. В углу оранжереи стояла бочка с водой, где жила любимая лягушка моего сына. Контора моего мужа помещалась рядом с нашим домом и домом письмоводителя по фамилии Муха, многодетного труженика. Еще чуднее были фамилии других помощников мужа: чертежник Поросенков, рыжеватый, в веснушках, и Подушкин, брат Холмского предводителя дворянства, неудачник, неокончивший никакого учебного заведения и, можеть быть, поэтому горький пьяница. Он трепетал перед мужем: «Другие начальники, — говорил он сослуживцам, — все бранились, и я знаю за что, а барон все молчит и не бранится, и я не знаю, ничего не знаю . . .»

Глухо было в его Холмском уезде, и среди лесов и болот даже жил маленький народец, родственный эстонцам, православный официально и язычник по вере и древним обрядам. В Холмском уезде крестьянки сохранили древнюю манеру вышивок гладью прекрасных неведомых узоров в нежных пастельных тонах, ничего об-

щего не имеющих с позднейшим псевдорусским стилем с петухами и яркими, синими и красными, красками. Сюда часто заглядывали знатоки антиквары из Петербурга.

Зима выдалась лютая; вокруг Новосокольников появились голодные волки, и крестьяне не выезжали, когда вечерело, из одной деревни в другую. По вечерам, когда было еще светло, увлечённая красотой старинной мебели, я уходила в столярную мастерскую, где наш столяр от Чагиных, любитель своего дела, знавший в лесу каждую карельскую березу, обучал меня полировке дерева. Это тонкое ремесло, требующее большой ловкости, чтобы не сжечь спиртом дерева, делало поверхность карельской березы похожей на золотистый блестящий атлас.

Столяр Димитрий сделал нам из нее гостиную и прелестный туалет, оригинал которого, времени Павла I, он нашел у мелкопоместной старушки. Молодой, русый, голубоглазый — не таков ли был Садко? — он был женат, имел сынишку, но жил не с ними, а у местной лавочницы, полной и властной, влюбленной в него. На мое неодобрение, он вздыхал и говорил: «Нет, уж теперь я пропащий; от нее не уйти, не отпустит никак . . . И все-то она угождает, вареньем малиновым кормит, и порешит с собой, если уйду . . .» Но через несколько месяцев он как-то сказал мне, что стал бывать у своей жены, видел сына и решил вернуться в семью. Но не такова была его судьба. Купчиха порешила не с собой, а с Димитрием, застрелив его спящего.

Прошла зима; снег, похожий на сахарный песок, стал оседать, заструились ручейки, заблестали на солнце ледяные сосульки и первые ласточки стрелой носились над крышей дома в голубом небе, а вместе с весной придвинулась к нам война.

Наши войска победоносно наступали на австрийском фронте, дезорганизовали отступающего неприятеля, взяли крепость Перемышль, как вдруг, не использовав достигнутых успехов, военное командование приказало отступление. Вспомним Мазурские озера, где были уничтожены две армии. И поползли темные слухи, и, с очевидностью, стала ясной неподготовленность нашего военного министерства, во главе с Сухомлиновым, к дальнейшим военным действиям. Всего не хватало: снарядов, продовольствия, даже обмундирования войск. Это была первая тень смущения и негодования, охвативших Россию. Война была популярна: левые смотрели на императора Вильгельма, как на жандарма Европы, противодействовавшего всем домократическим тенденциям, и надеялись на внутренние перемены в России. Войска выполняли, как всегда за многострадальную историю России, свой патриотический, подвижнический долг. Германия начала переброску своих войск в ослабевшую Австрию, а наши военные эшелоны, в свою очередь, шедшие на подмогу нашему Западному фронту, уже почти беспрерывною цепью шли с севера через Новосокольники.

«Земгор» предложил мне открыть продовольственный пункт для проходящих войск. Быстро построен был поместительный барак с огромными котлами, и наша веселая учительница одна из первых откликнулась на мой зов, и вскоре вокруг нашей столовой собрался целый кружок помощниц. «Земгор» открыл нам неограниченный кредит и наш продовольственный пункт расцвел. Я получила благодарственное письмо от «Земгора» за то, что, несмотря на прекрасное питание, цена нашего обеда с чаем была самая низкая в его организациях. Наш обед состоял из борща с мясом, гречневой каши со свиными шкварками и чая с хлебом и сахаром, и все это нам обходилось в четыре с половиной копейки за обед. Особен-

но был полезен Муха, как счетовод, ведавший всей нашей бухгалтерией, и, конечно, мой муж.

Из Петербурга приехала моя приятельница Ел. Вас. Дмитриева, богомольная, хлебосольная хозяйка своего прекрасного дома на Сергиевской улице. В первое же воскресенье мы пошли с ней к обедне в нашу белую церковь. Народу в большом храме было не много, и после обедни батюшка вышел на амвон и начал проповедь. Он говорил о многострадальном русском народе, о войне, и кончил убежденно-пророчески: «Российская Империя — это колосс на глиняных ногах . . . Ее ноги рассыплятся в прах и она рухнет!» Пораженные такой смелостью мы вышли из церкви, и Елена Васильевна промолвила, поднимая свои шелковые юбки над пыльной площадью: «Ну, и проповедь! Смело, смело говорит батюшка . . .» Вскоре местный аптекарь, жена которого была моей помощницей по продовольственному пункту, был арестован.

Лето кончилось, наступила осень, а с ней появились эпидемии, эти верные спутницы войны. В войсках началась дизентерия и, несмотря на предосторожности, мой маленький сын заболел ею в тяжелой форме. На беду, наш фельдшер дал больному каплю опиума, так пагубно действовавшего при этой болезни. Доктора в Новосокольниках не было, и поздно вечером мой муж пошел искать доктора в санитарный военный поезд, стоявший с больными солдатами на запасных путях. Он нашел военного врача спящим, усталым, с неудовольствием одевшимся, чтобы идти к нам. Доктор, Александр Иванович Никольский, был еще молод, широкоплечий и сутулуватый, как часто бывают физически сильные люди, с приятным русским лицом и светлыми волосами. Осмотрев больного, он сказал: «Вся беда в том ,что на дизентерию смотрят, как на сильнейше расстройство желудка, и опиум оказывает тут губительное действие. Я спе-

циализировался на дизентерии во время войны и у меня в госпитале, полном больных солдат этой мучительной болезнью, разносят слабительную эмульсию, которую я теперь даю Вашему сыну, ведрами».

Болезнь протекала мучительно, то утихая, то нарастая с новой силой. Когда прошел первый приступ, и болезнь шла на улучшение, Александр Иванович ходил по нашей гостиной, куря папиросу, и говорил: «Смотрю я на вас, матерей, сколько необычайных сил и самопожертвования вы отдаете детям! Если бы свою энергию вы употребляли бы на общественную работу, вы перевернули бы мир: не было бы ни войн, ни человеческого насилия и грубости . . .»

Но вскоре болезнь опять вспыхнула с новой силой. Ослабевший мальчик лежал неподвижно и шептал: «Больно, больно . . .» В душевном смятении, я выбегала на террасу вдохнуть воздуха для новых сил, видела голубое небо и зеленые верхушки тополей и думала: «Неужели, если случится это ужасное, такое же будет безмятежное небо, и так же будут шептаться тополя? Для меня, конечно, нет . . .»

Посоветовавшись с доктором об опасном положении ребенка, муж решил выписать из Ялты мою маму. А Александр Иванович успокаивал меня, говоря: «Конечно, есть неизлечимые болезни . . . При других же заболеваниях, если доктор, не отходя от больного, напряженно будет думать о его спасении, он добьется его, я уверен». — «Я Вас не отпущу, Александр Иванович, я запру двери, Вы будете ночевать здесь, я боюсь даже на час остаться без Вашей помощи». — «Я не могу оставить моих больных в поезде, я буду приходить постоянно при первой возможности». Он так и делал. И опять настало улучшение, как вдруг Александр Иванович сказал, что его санитарный поезд направляется в Невель. Мы решили следовать за ним с больным ребен-

ком. Мы ехали в отдельном вагоне: мой муж, больной Сережа у него на руках, няня Таня и я. «Жили-были дед да баба», начал рассказывать сказку мой муж и замолчал . . . «Нет, не могу выдумать», бессильно говорил он, а мальчик нетерпеливо махал ножкой, требуя продолжения сказки, которая его усыпляла под равномерный стук колес. Наш поезд катился вдоль озера Иван-Великое. Оно, действительно, было великое, как море. Влево прошла усадьба барона Корфа в темном бору на горе, а вправо тянулись низкие берега озера и не видно было конца его края. Только на горизонте маячила церковь в каком-то селе. У самого полотна дороги промелькнула черная избушка рыбака. Челнок и сети лежали на плоском берегу, — совсем как в сказке «О золотой рыбке».

Невель был набит войсками, и нам с трудом отвели большой номер в деревянной гостинице с темным коридором, освещенным маленькой, пахнувшей керосином, лампочкой. Муж остался жить в вагоне, то разъезжая по линии, то навещая нас. Александр Иванович жил в конце площади, на самом берегу Невельского озера, в мезонине старой усадьбы. Озеро было большое, окруженное лесом, а посреди него — остров, весной полный ландышей и соловьев. И старина Псковских Древлян оживала в памяти, когда заходило красное солнце за лесом и темнели воды прекрасного озера.

Несмотря на улучшение, Сережа так ослабел, что однажды ночью не мог уже поднять головы на отвисавшей тонкой шее. Мы с няней очень испугались, я быстро оделась и поспешила за Александром Ивановичем. Я шла по тускло освещенной луной широкой улице с темными домами через площадь к домику с мезонином. Тихо, чтобы никого не будить, я поднялась по лестнице, вошла в переднюю, где спал, храпя, денщик Александра Ивановича, и остановилась на пороге его комнаты. Че-

рез открытую двер на балкон виднелся остров, и поблескивала гладь уснувшего озера.

— Александр Иванович, это я . . . Я пришла за Вами, тихо сказала я.

— А, а . . . — во сне неясно произнес он и вдруг сразу поднялся с постели.

— Вы . . . Вы здесь . . . Людмила Сергеевна?

— Да, простите, пожалуйста. Сереже, кажется, хуже. Он ослабел. Пожалуйста, пойдемте!

— Да, да . . . Сейчас!

Мы быстро шли по плохо мощеной улице. Я спотыкалась, Александр Иванович взял меня под руку и шел рядом молча, немного согнувшись, стараясь попасть «в ногу». Я чувствовала, что что-то большое соединяет и разъединяет нас и мы оба молчали, каждый по-своему.

А в нашем номере няня носила больного мальчика по комнате и его голова свисала неподвижно на ее плече.

— Да, он ослабел . . . Но мы его теперь поправим; надо давать перловый отвар на курином бульоне и черничный кисель и продолжать лекарства. Но . . . няня говорит, что Вы тоже больны . . . Что же это будет? Сережа выздоровет, а Вас мы потеряем?

— Он наверное выздоровеет? Он будет жить? — ликовала я. — Милый, дорогой Александр Иванович.

— Да, да, завтра я приду, — и, поцеловав мне руку, не смотря на меня, он быстро вышел.

Сережа настолько поправился за несколько дней, что мы могли вернуться в Новосокольники, где Александр Иванович навещал нас не как доктор, а как дорогой друг. Однажды он пришел, видимо чем-то очень расстроенный, и сказал нам, что он очень устал и попросил себе отпуск навестить свою старушку мать в Брянске.

Перед отъездом он подал мне синюю тетрадь и просил передать ее в редакцию журнала «Русское Богатство», где мой отец, С. Я. Елпатьевский, был в то время

ответственным редактором. Простившись в передней, он долго натягивал свою военную фуражку на голову, постоял в раздумье минуту и, не сказав больше ни слова, вышел.

Его рукопись была напечатана накануне Февральской революции. Вскоре я тоже уехала в Крым на поправку сына.

Когда я вернулась из Ялты в Новосокольники, меня ждала ужасная весть: Александр Иванович застрелился в Брянске.

БЕЖЕНСТВО

В извозчичьей пролетке ехали мы — я, мой муж и наш пятилетний сын — по широкой деревенской немощенной улице маленького сербского городка.

По обеим сторонам тянулись белые, будто малороссийские хаты с садочками.

— А где се налази варош? (где же город?) — спросил возницу мой муж, уже немного выучивший сербский язык.

— Ту е варош — улыбаясь ответил возница, повернув к нам свое красивое южнославянское лицо.

Мы остановились в «кафане» (кофейне) — гостиницы не было, — в большой комнате с железной печью.

И пока мы пили кофе и закусывали в «кафане», хозяин затопил печь и сразу стало жарко и уютно.

«Вот еще куда занесла нас судьба» — подумала я, глядя на сваленый в углу багаж.

Ушел в даль Константинополь с его блистательным Золотым Рогом, минаретами, решетчатыми окнами гаремов-домов, древним базаром с коврами, медной посудой, алмазами и бриллиантами, куполами бань... А еще сегодня, рано утром, наш поезд мчался по пустынным холмам Болгарии и огромный волк стоял на одном из них и равнодушно смотрел на бегущий поезд.

Долго мы спали на теплых шерстяных тюфяках с домотканным свежим бельем, а весеннее солнце уже светило сквозь запотевшие окна и, когда отворили окно, запахло душистой весенней землей и дымком соседней хаты.

До нашего приезда в городке уже была раньше прибывшая колония русских беженцев около тридцати человек, со всех концов России.

Многие уже устроились: генералы (бывшие артиллеристы) преподавали математику при местной прогимназии, адвокаты — при суде, доктор — при больнице. Уже был избран председатель колонии, который, при ее содействии, распределял деньги «Державной Комиссии для помощи русским беженцам» неимущим ее членам. Уже были две враждующих партии — «правых» и «левых» — так хотелось жить иллюзией еще продолжающейся русской общественности. Мечтали и спорили, каким образом поскорее и вернее избрать путь для возвращения на родину.

Большинство колонии составляли интеллигенты с университетским образованием.

Первым пришел знакомиться с вновь приезжими доктор П. со своей женой и трехлетним сыном. На другой же день он перевез нас в домик вдовы-попадьи напротив своего дома.

Домик стоял в саду с высокими деревьями, на которых кричали, устраивая свои гнезда, скворцы. За садиком начинались поля кукурузы — обычная культура сербов. Наш домик в две комнаты и кухней напротив был меблирован кроватями, столами, стульями, умывальником и домотканным ковром с большим вышитым испуганным оленем.

Чуждо, тоскливо казалось все нам и только великолепный куст красных роз под окном мирил немного с новым гнездом.

Все мы беженцы — тогда мы себя еще не называли эмигрантами — были очень приятно удивлены обилием и дешевизной плодов земных в благодатной Сербии: мы давно отвыкли видеть на базаре такое обилие раз-

ного рода мясных продуктов, птицы, масла, яиц, и базар вскоре сделался любимым местом свидания всех.

В Сербии женщины на базар не ходят; вероятно мужья не доверяют им свои деньги и сами закупают провизию. Вскоре и наши — генералы, полковники, инженеры и адвокаты стали ходить на базар, помогая нам в нашем хозяйстве.

Приближалась Пасха и русская колония решила ее отпраздновать в кафане «Код Тиша и Гриша», в отдельной нанятой для сего комнате.

Была избрана хозяйственная комиссия, закуплены индейки, куличи, пасхи, яйца, жаренный поросенок — любимое блюдо сербов, по воскресеньям продававшийся на лотках на улицах, и сербская водка «ракия» (из слив).

Собрание за пасхальным столом было многолюдно, настроение бодрое и участники с любопытством рассматривали друг друга.

Первым поднялся еще моложавый полковник с пенснэ на носу и немного шпютоватым тоном начал речь:

«Mesdames, Messieurs! Направляясь в этот самый городок, я только молил Бога, чтобы там не было бы русских, от которых душа моя устала, но . . . встретив тут» — он обвел широким жестом присутствующих — «это, можно сказать, избранное общество, интеллигентное, симпатичное — я был покорен им . . . Да . . . я просто очарован! Пью за здоровье присутствующих, поздравляю с Праздником и желаю как можно лучше устроиться в этом глухом уголке Европы!»

И потекли речи с неизменными пожеланиями как можно скорее вернуться на родину.

Уже светало, когда все решили пойти «проветриться» на реку Мораву. Шли гурьбой по середине широкой пустынной улицы к понтонному мосту, где еще недавно

была кровавая битва, где за толстыми стволами старых осокорей раненые наскоро перевязывали свои раны, а на траве обрывистого берега синели шинели убитых воинов. Здесь сербы форсировали под огнем переправу через Мораву и вражеские снаряды с другого берега вздымали в реке фонтаны, а в воздухе в белом дыму рвались снаряды.

Тихо и безлюдно было теперь кругом, слышалось пенье соловья с того берега, а Морава шумела в быстром и мутном своем течении.

«Быстры, как волны, все дни нашей жизни...» запел кто-то и замолчал; умолкнул с ним и соловей.

«Куда то влечет нас наша судьба, как этот мутный поток?» приходило на ум.

Мой муж, как инженер, получил место помощника окружного инженера. Работы было много как по проектам, так и по ремонтам. Его начальник «чика (дядя) Мита» — грузный красивый серб, не любил себя беспокоить, предпочитая сидеть в кафане или дома, и посылал на присмотр районных работ своего русского помощника. Познакомившись с ним поближе, «чика Мита» начал выражать беспокойство при его отъездах и, наконец, сказал: «Не можете, господине, доплатити паре за ручак, тако исте за привозно средство» (Вы не должны платить за обеды и за экипаж).

Сначала подрядчики были в недоумении от отказов инженера брать «бакшиш» и всякую снедь, но скоро привыкли к новому «господину инжениру» и отношения установились наилучшие, но, должно быть, после отъезда русского инженера без всякой ломки все опять вошло в обычное старое право.

Все беженцы были устроены на работу, зарабатывали по деревенски и жили так же, не нуждаясь — все было дешево и нужды были самые ограниченные.

Артиллеристы давали уроки арифметики, прокурор служил весовщиком на местном сахарном чешском заводе, его жена давала уроки французского языка нашим детям; талантливая жена полковника (кузина писательницы Тэффи), ученица школы рисования Штиглица, — уроки рисования и даже взяла подряд на роспись иконостаса местной церковки (сербской) и выполнила это в совершенстве. Она скоро умерла от уремии и была оплакиваема всей любившей ее колонией и особенно её приемным сыном Алешей, круглым сиротой, учившимся в кадетском корпусе в Сараево.

На чужбине потеря своего соотечественника особенно сиротливо и больно отзывается в сердцах.

Алеша — сирота, с младенчески неразвитым умом, был необыкновенно одарен музыкально; кажется все инструменты были ему сподручны, а на рояле он играл так своеобразно интерпретируя, как это могут делать только отмеченные особым талантом.

После смерти своей приемной матери он плохо учился, должен был бросить корпус и остался на долгие годы в этом глухом уголке, играя в кафанах. Благодаря своему таланту ему удалось, в конце концов, поступить в консерваторию, окончить ее и получить службу в белградском радио, где часто объявляли: «на клавиру играет господин Алеша К.».

Надо сказать, что в сербских кафанах публика была требовательна и избалована музыкой. Таких народных напевов и цыганской музыки я больше нигде не слыхала и, помнится, так жалела, что вместо меня их не слышит живший тогда в Париже Глазунов. Много было чудесных скрипачей и среди них цыган.

У моего сына были молодые друзья — сын бывшего товарища прокурора Кот и трехлетний малютка доктора.

Отец Кота в шутку звал себя Петухом, а свою жену — мачеху Кота — Козой. Так и жили они — Петух, Коза и Кот — в маленькой избушке в одну комнату, в начале бедно, а затем начали работать на сахарном заводе. Впоследствии Кот поступил в Лувенский университет (в Бельгии), окончил его и франтом приезжал сюда на каникулы в свою семью.

Это был очень способный и ловкий мальчик, любимец моего сына. Они вместе строили мельницы на оросительных канавках кукурузных полей, бегали в заводь Моравы, где доживала свой век старая разрушенная мельница, прекрасная декорация к пушкинской «Русалке»; на прилегающий затон, где деревья росли прямо в воде; вода была черная от сплетавшихся корней, где водились змеи, где было страшно и таинственно. Это место называлось «Ада», и к нему прилегало поле пшеницы.

И еще часто обоим мальчикам доктор подкидывал своего трехлетнего сына. Тихий ребенок, подавленный превосходством своих старших друзей, которые нередко его дразнили, после обиды тихо вздыхал, шел к двери и, поднимаясь на цыпочках, чтобы достать ручку двери, лепетал: «идомо до кучи» (идем домой), «идомо до кучи» и тогда уже никакие мои уговоры и заступничество не помогали и я шла провожать обиженного малютку «до кучи».

Хотя наш городок и был административным центром округа, все же его жители, как все хлеборобы Сербии, занимались огородами, хлебопашеством, разведением кукурузы для свиней и птицы.

И нам — беженцам — местные власти отвели в «Ада» поле для наших надобностей. Мне кто-то вскопал грядки и я мечтала выращивать на них огурчики. Идя с семенами в «Ада», я увидела почтенную вдову управляющего отделением Государственного банка в

Ростове и ее сына-адвоката, впоследствии устроившегося при местном суде, вспахивающих на паре дородных волов свое поле. Сын шел за плугом, а мать впереди в головах волов. Я с ужасом наблюдала эту сцену, воображая, что старуха вдруг споткнется и волы затопчат ее, и думала: «что же ждет нас здесь в будущем? Это ли наша участь?»

Но вскоре, намучившись на необычном труде, мы отказались от полей и огородов и бросили «Ада».

И только один член нашей колонии, бывший помещик, окончивший Петровско-Разумовскую Сельско-хозяйственную академию, устроился помощником управляющего государственным имением и жил в домике в 2-х верстах от города, куда мы приходили к нему «пикниковать». Он был женат на цыганке, молодой, забавной и очень привлекательной.

На наших пикниках она от души веселилась и отплясывала на лужайке.

Ее муж агроном получал мало, жили они скудно и на одежду не хватало часто денег, а одеться молодой женщене хотелось, и получше. Натерпевшись от безденежья, она решила ехать в Белград прямо к министру земледелия просить прибавки жалованья.

В Белграде была тенденция, чтобы все было «фино и модерно», и так же было в министерствах; министры были лица с высшим, большей частью заграничным, образованием.

Цыганка просила о прибавке жалованья, показывая министру свои изодранные туфли — «ципели» и стыдила ими министра:

«Это срамота, господин министр. Жена Вашего чиновника да не может имати новые ципели».

Вероятно министр с удивлением и улыбкой смотрел на свою забавную просительницу, но в просьбе ей не отказал.

На другой день после возвращения цыганка наняла экипаж и ездила торжествующая по всему городу, рассказывая о своем свидании с министром и о прибавке жалованья ее мужу.

Два генерала братья В. Е. и Н. Е. И., сначала служили чертежниками при «чике Мите», но вскоре были «сокращены» из за «криза» и жили, давая уроки и получая субсидию от «Державной комиссии», учрежденной королем Александром, всегда особенно отзывчивым к нуждам беженцев.

Жена старшого брата, Владимира Евграфовича — Елизавета Николаевна, прекрасно давала уроки английского языка нашим мальчикам и была приглашена, как dame de compagnie, к жене директора сахарного завода; его коляска с парой гнедых рысаков увозила и привозила ежедневно ее домой. Ее муж окончил Военно-Юридическую академию и одно время был помощником главного военного прокурора, когда эту должность занимал ген. Павлов. Сколько раз Елизавете Николаевне приходилось частным образом, через жену Павлова, хлопотать о смягчении участи осужденных, иногда на смертную казнь!

Владимир Евграфович, обаятельный в обращении, был очень образованным, умным человеком, страстным любителем русской литературы. Все свои свободные деньги он тратил на выписку книг, текущей эмигрантской литературы и газет. Своей широкоплечей, высокой, статной фигурой, с повелительными жестами и бритым энергичным лицом, он очень походил на римского сенатора древности.

По утрам, когда я еще не выходила из нашего домика, он стучал своей палкой в окно — оно было высоко — и давал мне свежий номер «Руля», выходив-

шего в Берлине под редакцией Гессена. Часто мы коротали время с ними за чтением и обсуждением какой-нибудь статьи. Старый генерал будто переродился в изгнании, свободный от служебных пут и интриг петербургского чиновного мира.

В нашей колонии было несколько казаков из Добровольческой армии, работавших на местном сахарном заводе.

Один из них, тяжело раненый в ногу и с трудом ходивший с палкой, получал субсидию от Державной комиссии и мы все помогали ему, как могли. Однажды мы с мужем сидели в его темной большой избе у стола с развернутой газетой «Руль»; на столе слабо теплилась керосиновая лампочка. По полу, белея и стуча коготками, деловито ходил белый голубь, подбирая крошки, а на плече нашего хозяина сидела маленькая птичка, чирикала, заглядывая ему в лицо своими черненькими глазками.

«Вот пташка . . . а ведь понимает благостность, летая под небесами» — продолжал он начатый разговор — «а вот Милюков — неверующий, как Вы говорите; так зачем же он отнимает у нас нашу веру, нашу веру в то, что мы не напрасно страдали, пробиваясь среди «красных», что не напрасно полегли наши казаки на полях битв, что не напрасно вот я остался калекой на всю жизнь . . .» Он расправил рукой газету и его серые, казацкие, пытливые глаза оживились. «Что теперь, мол, нас не надо, не надо нашего казачества, надо раствориться в беженской жизни, а все прежнее по-боку . . . А я так думаю, что наши жертвы не напрасны и мы еще возьмем винтовку в руку защищать наше свободное казачество».

Когда мы вышли на крыльцо, на улице было совсем темно; город спал в безмолвии ночи; пахло огородами и сыростью с Моравы. А темно-синее небо блистало в своем великолепии.

Как серебряное полотно, опоясал его Млечный Путь и мириады звезд играли и переливались разноцветными огнями, мерцая то синими, то красными, то зелеными лучами и, казалось, тихий шелест спадал от них на землю.

Бывают же такие великолепные ночи!

Зима была в Сербии, как на Украине: солнечная, мягкая с обильным снегом. Пользуясь снежным путем, к нам на базар стали приезжать из далеких валашских сел крестьянки-валашки, продавая шерсть, холсты и всякую снедь. Они были очень живописны и нарядны в своих белых, вероятно очень древних, необычайных национальных костюмах. На их коротких белых домотканых шерстяных юбочках в складках висели, как хвосты, длинные кисти; их белые тулупчики были красиво вышиты красной шерстью, а в круглые белые шапочки были воткнуты разноцветные высокие перья, совсем, как у индейцев, что приводило в восторг наших мальчиков.

В долгие, зимние вечера мы часто собирались друг у друга и даже устраивали в кафанах литературно-музыкальные вечера, на которых неизменно выступала в черном шелковом платье с розой на груди экзальтированная жена доктора, с простым русским широким лицом и декламировала: «Как хороши, как свежи были розы», делая ударение в слове «свежи» не там, где нужно.

Наш прежний председатель колонии С., бывший Тульский городской голова, дородный седеющий муж-

чина с пушистыми усами с подусниками, любил по старой привычке хорошо поесть и принять гостей. Он жил на свои собственные средства в уютном домике с большим садом. С ним жили чужие ему две сестры, молодые, скромные и у одной из них был муж, служивший в Константинополе и изредка приезжавший в наш городок навестить свою жену. Этот ушедший в себя, худенький, молчаливый и молодой еще человек вызывал у нас сострадание и недоумение: «Почему он не живет здесь со своей женой и свояченницей?».

В его последний приезд из Константинополя С. устроил в честь его обед. Наша колония гурьбой двигалась по широкой улице, уже запорошенной снегом с одного конца города в другой. Рядом со мной шел наш новый председатель колонии генерал И., видевший всюду интриги и особенно не долюбливавший адвоката Б. и товарища прокурора П., своих обычных оппонентов в комитете.

Идя на своих негнувшихся ногах, он жаловался на П., киевлянина, как и он сам: «Он, этот товарищ прокурора, в начале революции в Киеве, на площади, перед народом встал на боченок и каялся народу, прося прощения за свою прокурорскую деятельность, видите-ли... Каков гусь!» «Не гусь, а петух» — шутливо поправила я. Мне эта история с покаянием очень понравилась.

У С. на большом длинном столе дымились два огромных пирога украшенные бутылками местного вина и, конечно, ракии, которой русская колония сразу отвела почетное место в своей жизни.

Я и В. Е. сели в темном конце стола.

«Какая сила держит наших милых хозяек около С.? — тихо спросила я. «С. — Распутин и такова же его сила... А вот Вы и Вашей силы не знаете» прибавил

В. Е. «Вот так сила» засмеялась я, мысленно оглядывая себя в моем простеньком платье.

Владимир Евграфович, улыбаясь, пил ракию, заедая пирогом, был весел и остроумно поддерживал застольные речи.

Когда мы вышли, луна уже обливала голубым светом город, снег скрипел и блестел под нашими ногами . . . Мы выражали надежду, что на этот раз молчаливый худенький муж останется здесь с женою.

«Этому не бывать; Распутин оплел их своими непонятными путами», — сказал В. Е. И действительно так и случилось: муж уехал на этот раз навсегда обратно в Константинополь на оставленное им место, а С. со своими дамами перебрался в окрестности Белграда, где младшая сестра поступила на курсы.

Прошла зима, опять настало лето и опять мы все стали собираться у разрушенной мельницы в «Ада» на берегу Моравы.

Как то я шла вместе с Владимиром Евграфовичем вдоль заколосившейся уже пшеницы. Впереди нас шел пехотный генерал И. и насвистывал перепелов. И понемногу то там, то сям перепела стали откликаться, все ближе и ближе.

— Как я ему завидую, этому простенькому, не утруждающему себя думами.

— Унтер не был бы, когда б грамоты не знал. Это про него сказано, — Владимир Евграфович был чем-то расстроен и мрачен. — Вот он идет, посвистывает перепелов и по детски счастлив.

— Послушайте, милый друг, — он стал волноваться и торопливо говорил. — Мне сегодня доктор сказал, что я проживу всего еще 3-4 года . . . Это немного жестоко сказано, но не в этом дело. Я хочу Вам исповедаться: на моей душе лежит грех, как тяжелый камень.

Он в волнении стал сшибать тростью колосья.

— Когда я был помощником военного прокурора, я потребовал смертной казни для одного солдата...

Я вздрогнула: — «За что?»

— За мародерство, в японскую войну. Но не важно, за что... Ведь это был человек и я отнял у него самое дорогое, его жизнь, на что я не имел никакого права...

Мы тихо, молча шли.

— Да и вообще — Вы знаете о чем я говорю — я всю свою жизнь делал не то, что нужно было делать, то есть лучше сказать — делал то, чего не нужно было делать... И вот сознать это теперь, когда все уже кончено...»

Мы дошли до обрыва берега Моравы, где уже собралась русская колония. Жена В. Е. сидела на срубе и ждала нас.

Вскоре наша семья стала собираться переезжать в Загреб. Мне не хотелось помещать сына в сербскую гимназию, в Загребе же открывалась русская гимназия под руководством товарища мужа, прекрасного педагога, инженера Л. И. Все же мы колебались: не хотелось расставаться с В. Е. и его женой и деревенским уютом нашей жизни. Друзья нас отговаривали, говоря: «Ну, не все ли равно, где жить, если мы потеряли Россию... Ведь Загреб — не Париж».

И бросивши наш первый приют, я, конечно, не нашла никого, кто бы нам заменил наших дорогих друзей.

Но молодость и жажда жизни брали свое и хотелось ехать все дальше и дальше, видеть все больше и больше.

После нашего отъезда В. Е. старел, хворал; ему обещали, а потом отказали — и в очень грубой форме — в службе по военному министерству. Он был очень

огорчен, получив последний отказ в жизни. Слабому сердцу нечем было биться и через год он скончался на руках потрясенной горем его жены.

После его смерти она мне писала:

«Посылаю карточку Вашего друга, который нежно любил Вас, всегда помнил Вас и сожалел о Вашем отъезде: мы заочно всегда звали Вас Милочкой...

Я уже не способна ничего никому дать, а взять от жизни мне больше и не надо и среди живых людей мне тяжело, у меня с ними уже оборвалась связь. Это узко, и широкий ум моего чудесного друга, может быть, порицал бы меня.

Посылаю Вам за него одно из его стихотворений».

«ПОСЛЕДНИЙ ЛУЧ»

(На мотив «Вечно» Куприна)

Я помню хорошо, что я старик седой
И роль поклонника ко мне совсем нейдет.
Я знаю, что в душе остывшей и больной
Жизнь новая, увы, опять не расцветет.
Но вот я встретил Вас и так мне захотелось
Хоть на минуточку года свои забыть,
Опять запеть, как прежде пелось,
Про радость жить, Вас видеть и любить.
И в дни недолгие, что мне осталось жить,
Тот яркий луч, как луч прощальный, луч заката,
Взамену радости ушедшей без возврата
До дня последнего он будет мне светить.
А Вас в дни тусклые, без радости, просвета,
С глубокой нежностью я стану вспоминать
И буду Вас за каждый добрый взгляд,
За всякий знак привета
В душе моей благословлять!»

«Сегодня после обедни», — писала далее Е. Н. — «я снесла и положила на дорогую могилу, так, как Вы просили, присланный Вами букет фиалок в головах, а другие Ваши цветы в ногах перед горящей лампадой.

Если наш дорогой друг видит нас, — о, как он признателен Вам за Вашу ласку, Вашу любовь!

Но он уже ничего не может Вам сказать».

ЛА-ФАВЬЕР

«У лукоморья дуб зеленый,
златая цепь на дубе том . . .»

И опять новый, может быть последний, период нашей скитальческой жизни.

Мы и наши друзья осели в Провансе, на его морском берегу, в зеленой долине Ла-Фавьер.

Прованс — чудесный своей античностью уголок земли.

Его древние полуразрушенные замки на таких же, как и они сами, серых скалах; его старые фермы, иногда с башнями и бойницами в окружающих стенах; его романтические усадьбы с зонтичными соснами, мимозами и виноградниками, недавно еще обитавшими там «Травиатами» — полны очарования.

Внизу, у подножья скалы с замком, живет провансальская деревня или городок.

В их общественных садах зачастую стоят каменные статуи их прежних дюков и графов, почерневшие, изъеденные веками. А на площадях — причудливые старые каменные фонтаны, обросшие мхом и водяными травами, журчат чистой, прохладной струей. Здесь по целым дням провансальцы «трудятся» — над своей неизменно-любимой игрой в «булли»*).

Легкие, как облака, светлые скалы поднимаются высоко к небу; серебряные рощи маслин, а на перевалах серо-лиловые кустики лаванды окрашивают пейзаж Прованса в прозрачные серебряно-лиловые тона.

---

* Игра в метанье шаров.



Руины Прованса. V век до Р. Х.

Провансальские большие и малые бухты хранят в морской глубине остатки стен и фундаментов древних городов, затопленных судов греков и финикийцев, развозивших по всему Средиземному морю вина, оливковое масло, а соленую рыбу и кожи даже с Азовского моря.

Это они жили в Марселе, Фрежюсе и других основанных ими колониях, потерявших свои древние имена. Античные Ним, Арль, Оранж, Виенн — целые города полны остатков их великолепной древней культуры.

Этой весной на глубине Марсельского залива нашли такое античное судно, с которого подняли на лицо земли финикийские амфоры для масла и вина и греческие вазы в тысячах экземпляров и в одной из амфор — золотые пластинки и монеты времен Юлия Цезаря.

Там, где кончается глубокая Ла-Фавьерская долина и начинаются горы, в ущельи, на старой ферме, старый фермер рассказывал мне, что он слышал от стариков о маврах, приходивших в их страну, как о хороших хозяевах и отличных земледельцах*).

В нашем коммунальном средневековом городке Борме, таком живописном и в настоящее время модернизированном, с полуразрушенным замком в густой зелени горы, с темными сырыми улицами, под толстыми каменными сводами, непроницаемыми для вражеских стрел мавров, с древними колодцами, так убедительно говорят о прежней своей жизни.

Вся Ла-Фавьерская долина поделена между местными фермерами. Их немного — всего шесть семейств, но они древние обитатели долины и на топографических картах XVIII века все те же имена теперешних фермеров, сидящих на тех же местах, обжитых многими столетиями. Они все так же занимались земледелием, оливками, впоследствии цветоводством и накопили большие земельные богатства, благодаря взаимным бракам. В последние годы они начали продавать земли заезжим иностранцам и, главным образом, русским.

Семья Швецовых первая купила здесь землю и через год пригласила писателя Г. Д. Гребенщикова для постройки дома и устройства именьица и поселилась тут почти безвыездно. Это был наш сосед — домовладелец по Ялте, выехавший оттуда в начале революции.

---

*) «Chaine des Maures», — «горы мавров» — название местных гор.

Жена его Аполлинария Алексеевна, — мой друг, — была сибирячкой из Кяхты, где у ее родителей был хлебосольный и очень просвещенный дом. Ее отец, Лушников, был воспитанником декабриста Н. А. Бестужева, жившего в доме ее деда в соседнем городке Селенгинке. Бестужев подарил отцу Аполлинарии Алексеевны собственноручное бюро, хранимое, как реликвия, картины маслом в романтическом вкусе (Мадонну, женскую головку) и много рисунков, прекрасно им написаных, из жизни и каторжных работ декабристов, домов их жен и т. д. Все эти рисунки, которые я еще видела в Ла-Фавьере, погибли при немецкой и итальянской оккупациях. Отец Аполлинарии Алексеевны похоронил Бестужева в так называемой «Бестужевской пяди», где он огородничал, любил гулять, ловить рыбу, и поставил также памятники на могилах дочери декабриста Анненкова и Торстона.

Аполлинария Алексеевна училась в иркутской гимназии и жила в доме, где жил когда-то сосланный в почетную ссылку генерал-губернатор Сибири Сперанский, знаменитый составитель Свода Законов, сказавший как-то Императору Александру I: «Царь и свобода — несовместимы». В саду их дома со старыми кедрами и березами все еще стояла древняя каменная беседка, где сидел, гуляя, Сперанский . . . А наискось находился двухэтажный деревянный дом декабриста князя С. Г. Волконского.

В Ла-Фавьере ко мне приходила в гости большая и нарядная добрая мать Б. А. Швецова, восьмидесятилетняя старуха, рассказывала, как она девочкой видела княгиню М. Н. Волконскую, приезжавшую в Кяхту к дочери Трубецких, как Волконская «с черными усиками» ходила обедать в китайский поселок и нюхала блюда: китайцы готовят на бобовом масле, неприятно пахнущем.

Аполлинария Алексеевна так же, как и ее покойный муж, была любительницей книг. Она выписывала все, что появлялось интересного в литературе Европы и Америки и пользоваться ее библиотекой в Ла-Фавьере приходили к ней Кочубей, внук М. Н. Волконской, со своей женой, бывшей учительницей в его сельской школе в России. Они жили в соседнем городке Иерре у приютивших их после революции французов. Уже старые и оба обаятельные, они сохраняли в своем маленьком домике много семейных сувениров и особенно много портретов Волконской, ея дочери Нелли, матери Кочубея, приятельницы Тургенева. О ней он писал своим друзьям из Парижа: «Вы знаете, я не люблю французов, живу уединенно и меня радует только милая чета Кочубеев, которые так любят друг друга, что весело смотрет на них».

Каждое лето Аполлинария Алексеевна устраивала у себя научные доклады путешественников Ушакова, Иогальсона. Куприн, Марина Цветаева и другие читали свои произведения. Ежегодно устраивала большой костюмированный бал на террасе своего дома, куда задолго взрослая и детская русская колония Ла-Фавьера готовила свои остроумные и художественные костюмы.

Аполлинария Алексеевна лежит со сломанной ногой уже много лет наверху своего дома в Ла-Фавьере. Из окна она видит всегда меняющееся море, располагающее к мыслям и воспоминаниям.

«Сибирь, — рассказывала она мне, — богата и ее крестьяне предприимчивы, с независимым нравом — качествами, отсутствовавшими у российского крестьянства. Кяхта, особенно богатая чаеторговлей, была воодушевлена жаждой просвещения, для чего кяхтинцы самообложились на просветительные и благотворительные дела. Сабашников пожертвовал 50 тысяч рублей на гимназию, а моя мать много лет была попечи-

тельницей гимназии и также местных школ, поддерживала библиотеку, музей Географического Общества с очень ценными археологическими коллекциями и т. п. Кяхта была «торговой слободой», самоуправлялась выборными старшинами и не подчинялась Восточно-Сибирскому генерал-губернаторству и имела право обращаться к Государю помимо министерств.

Так случилось при манифесте 17 октября, когда кяхтинцы собрали свой «парламент» и послали благодарственный адрес Государю, одобряя установление конституции.

Из Петербурга было приказано арестовать некоторых старшин; они через неделю были выпущены, так как было донесено в столицу, что этот адрес Государю был послан «по глупости».

Приехав по приглашению Швецовой в Ла-Фавьер всей семьей, мы были очарованы им и мне захотелось устроить здесь второй Баты-Лиман.

Знакомая фермерша продала нам целый холм за ничтожную сумму и так же, как в Баты-Лимане, я быстро нашла желающих принять участие в нашей покупке, и, конечно, в первую голову откликнулись на мой зов Баты-Лиманцы из Парижа: И. Я. Билибин, П. Н. Милюков, А. А. Титов и крымчаки: С. С. Крым, Белокопытов со своей сестрой Ольгой Николаевной Мечниковой, проф. С. И. Метальников, а также наши общие знакомые: проф. Н. А. Безсонов, поэт Саша Черный с женой, С. С. Воейков, продавший впоследствии свой участок земли С. Лукомской, писатель Г. Д. Гребенщиков, проф. Кокбетальянц, Я. Л. Рубинштейн и художник Околов. Так появился на одном Ла-Фавьерском холме «Cité Russe», как его назвали местные французы.

На помощь всей нашей братии полковник Белокопытов привез с собой из под Парижа знакомого казака П. Г. Мосолова, который и начал строить нам наши да-

чи, а впоследствии выстроил и себе большой заправский дом на земле проф. Метальникова.

Прекрасный хозяин и строитель, энергичный, он часто смотрел насмешливо своими быстрыми серыми глазами на наше неумение устраиваться.

Его дом стоит теперь в развалинах без хозяина, а судьба Мосолова была жестока к нему.

Однажды зимой, когда большинство из русских уже уехало в Париж, наша прачка, искавшая грибов в лесу около нашей горки, наткнулась на труп Мосолова, уже давно мертвого, но все еще державшого ветку с сосновыми шишками в руках. Очевидно, несчастный сорвался с высокой сосны, под которой она нашла его мертвым.

Белокопытов, когда-то имевший дачу в Крыму в Симеизе первый построил совместно с Мосоловым уютный домик для себя с женой и для своей сестры О. Н. Мечниковой. У них в саду со множеством цветов, освещенных фонариками, часто танцевали наши дети-подростки. Белокопытов столярничал и делал нам незатейливые столы и скамейки для наших надобностей. Жена Белокопытова, уехавшая впоследствии в Москву заведывать музеем, куда Мечникова пожертвовала золотые медали, книги, рукописи и пр. и пр. Белокопытова ходила в Ла-Фавьере в пижаме и длинных полосатых штанах, за что Мосолов произвал ее «Клара Цеткина в портках».

Ольга Николаевна, вдова знаменитого И. И. Мечникова, жила на другой половине их дома в своей спальне и мастерской с лепным портретом своего мужа и своими картинами — она была очень хорошая скульпторша и художница. По вечерам в тихие сумерки леса, окружавшего их домик, она любила играть на фисгармонии в своей мастерской.

Несмотря на свой почти восьмидесятилетний возраст, Ольга Николаевна шла своей легкой походкой в черном аккуратном платьице с белым воротничком, с палитрой и красками в лес, и Мосолов говорил вслед ее легкой фигурке: «Вот наша гимназистка пошла рисовать».

Впоследствии для множества картин и скульптуры, накопившихся за всю ее долгую жизнь, О. Н. Мечникова выстроила внизу своего сада павильончик, где собрала много ценных вещей и семейных реликвий.

Во время войны, когда она вместе с Л. К. Белокопытовой, муж которой уже скончался, переехали в Париж, немцы взорвали их дом и павильон, где погибли все картины, вся скульптура и реликвии Мечниковой.

Сама она вскоре скончалась в Париже и Пастеровский Институт взял на себя заботы об ее похоронах.

Еще выше белокопытовской дачи, на самом перевале в Лавандусскую долину, Мосолов построил дачку в две комнаты И. Я. Билибину. С одной стороны Билибин видел Лаванду с ее сиреневыми горами, с голубым небом, с другой — зеленую Ла-Фавьерскую долину с темными соснами на белом песчаном великолепном пляже тоже синего моря. От домика шла дорожка в темный лес, которую так любил рисовать Билибин. Он много с удовольствием работал в Ла-Фавьере и, кроме чудесных, тихих, солнечных провансальских пейзажей, написал портрет Саши Черного и одной приезжей русской дамы. И все же Билибин с грустью вспоминал наш Бады-Лиман с его, как он говорил, «грандиозной героической красотой», где не надо было искать сюжета для картины: он был всюду, куда ни повернешь голову.

В свое время Билибин изменил новгородским озерам и лесам, где он с увлечением охотился в молодости, где он написал свою Василису Прекрасную и русские

былины, но героический пейзаж античной Тавриды покорил его на всю жизнь.

Он вскоре и уехал туда, где была Российская Академия художеств, где был его любимый Баты-Лиман с его дачей на берегу морского обрыва Черного моря, где осталась вся его душа. Во время войны он любил повторять, что не согласен никому отдать «ни одной пяди русской земли»...

После его отъезда в Россию и его трагической смерти в голодном осажденном Ленинграде, все еще стоит его полуразрушенный домик в Ла-Фавьере и мистраль треплет его ставни, красиво разрисованные его женой художницей Щекотихиной.

С. С. Крым, признанный глава крымских караимов, член Государственного совета, имевший много имений в Крыму в Феодосийском уезде, поселился тоже в Ла-Фавьере, который своими виноградниками и природой напоминал ему родной Крым. Мосолов выстроил ему дачу под Билибинской, — настоящий татарский домик с большой террасой, с видом на море.

Караимы, с давних времен жившие бок о бок с татарами в Крыму, тесно были с ними связаны обычаями, вкусами и языком. В семье С. С. Крыма, несмотря на университетское образование его братьев и сестер, часто говорили по-татарски, любили татарские блюда и имели так же, как и татары, пристрастие к садам и виноградникам. С. С. Крым любовался виноградниками Ла-Фавьера и говорил, что местная шиферная почва как раз та, что им нужна.

Он был отличный винодел так же, как и его приятель, известный партизан в бурскую войну, князь Лев Голицын, подаривший Наследнику Алексею Николаевичу свое сказочное имение в Крыму «Новый Свет». Серый каменный замок высился на выжженной солнцем поляне, а сбоку находился замечательный винный под-

вал, где вина разных времен и народов аккуратно лежали, как в библиотеке, по стенам огромного длинного подвала. В глубине его стояла большая мраморная группа, а посредине длинный стол с тяжелыми дубовыми креслами в стиле «Renaissance».

Мы большой компанией сидели за столом и С. С. Крым угощал нас, как заведующий подвалом, разными винами и рассказывал, как князь Голицын безошибочно определял с закрытыми глазами имя и год урожая вина.

Однажды, когда князь, никогда не считавший денег, нуждался в них, он продал огромную картину Айвазовского Крыму. Она висела в столовой феодосийского дома. Темные волны заполняли раму и среди них на морских конях властно плыл Посейдон с трезубцем в руке . . .

Тоже феодосиец, Айвазовский рассказывал Крыму о том, как он увидел впервые Пушкина в Академии художеств. Айвазовский был еще ее учеником и за одну конкурсную картину получил какую-то награду и стоял около своей картины во время выставки ученических работ в Академии художеств. В волнении он увидел, что через зал к нему приближается Пушкин со своей женой поразительной красоты. Пушкин подошел к Айвазовскому, одобрил его картину и сказал: «Работайте, работайте, молодой человек, надо вам еще много работать».

Во время пребывания Крыма в Ла-Фавьере между Западной Европой и Россией еще существовали почтовые сношения и изредка С. С. Крым получал письма от знакомых ему татар, то из Козской долины, то из своих имений, где они все спрашивали, скоро ли вернется к ним С. С. Крым, а также их прежняя, казалось, незыблемая когда-то жизнь. Эти письма составляли целый период, счастливый в жизни С. С. Крыма. Он им отвечал на родном ему татарском языке, можно сказать,

жил этой перепиской и издал в конце своей жизни книжку «Легенды Крыма», встретившую очень хороший отзыв прессы.

Рядом с С. С. Крымом Мосолов построил дачу профессора Пастеровського института С. И. Метальникова. Он был приятель С. С. Крыма и также имел в Крыму прекрасное имение «Артек», в котором, со времени колонизации Крыма при императоре Александре I, жили именитые русские вельможи начала и середины 19-го века.

Проф. Метальников, его жена и вся их многочисленная семья очень любили свою дачу, где у них по вечерам не переводились гости. Сергей Иванович в своей маленькой комнате писал тогда свою замечательную книгу по биологии «О безсмертии» и работал над иммунитетом по борьбе с туберкулезом — работа, удостоившаяся премии Пастеровского института. В свободное время он ходил в своем чесунчевом белом костюмчике от одной дачи к другой, часто приходил к моей матушке, но нигде не засиживался, все торопясь куда-то... Эта его торопливость раздражала положительного Мосолова, который называл его «безпризорным профессором».

С. И. Метальников привлек к покупке в Ла-Фавьере и другого выдающегося ученого, Н. А. Безсонова, всемирно известного по витаминам, и оба они устраивали лекции для нас, признательных им за это Ла-Фавьерцев.

Высоко на соседней горе построили свой хороший провансальский дом, Саша и Маша Черные, как мы их называли. Саша Черный любил сидеть на скамеечке своего садика и говорил, что ему кажется, что он живет на острове Таити — так великолепно расстилалась перед ним долина своей зеленью и пальмами.

Саша Черный, известный поэт и беллетрист, был душой нашего общества, особенно наших детей, которые

любили его и которых любил и он и им отдавал свои лучшие досуги. По вечерам, особенно когда море поблескивало отблесками луны, на затихшем пляже собирались все дети около Саши Черного, жгли костры, жарили шашлыки, приправленные неизсякаемыми остроумными и художественными песенками и рассказами Саши Черного; дети вторили ему и пели смешные, веселые его песенки.

Он интересовался детьми, делал им подарки и, конечно, писал для них столько же, как и для себя. Его жена, живущая и по сие время благополучно в Ла-Фавьере, Маша Черная, приват-доцент философии, давала нашим детям и детям фермеров уроки и многих довела до благополучного «башо».

Общительный, отзывчивый Саша Черный был всегда там, где нужна была помощь. Однажды, в самую жару, когда все старались сидеть по домам, вспыхнул пожар в лесу, рядом с русским поселком. Все бросились тушить огонь и Саша Черный прибежал впопыхах к нам на террасу, прося топор и лопату. Пожар был потушен и усталый Саша Черный принес их обратно и попросил напиться. Я дала ему холодного чая и просила прийти к нам вечером. Он слабо улыбнулся, ничего не сказал, зашел к Мосолову, взял у него ведерцо известки и, еле поднявшись к себе на гору, слег в припадке грудной жабы и умер.

Это был большой удар для нашей общей жизни: опустошена была его смертью душа нашей колонии и отлетел от нее ее аромат. Все притихли . . .

Кроме дачевладельцев Ла-Фавьера, конечно, скоро много русских начали приезжать сюда летом «на каникулы». Ко мне приехала моя подруга, крестная мать моего сына, С. М. Ростовцева, присматривала себе кусочек земли для постройки дома, куда бы она могла пе-

ревезти драгоценную библиотеку Михаила Ивановича. Но так ей и не удалось выполнить свое желание...

Появились в Ла-Фавьере пансионы профессора Кокбетальянца, Богдановых, Гольде, где неизменно много лет жили Гречаниновы. У Аполлинарии Алексеевны Гречанинов импровизировал; особенно запечатлелся его вальс, который он сочинил по нашей просьбе, легкий и поэтичный. Марья Григорьевна Гречанинова говорила, что непременно построит в Ла-Фавьере дом, но война заставила их покинуть Европу.

Ал. Тихонович Гречанинов писал, что лучшее время его жизни — это годы в Ла-Фавьере.

К нам приезжал Н. Н. Черепнин с женой, милой Марией Альбертовной, дочерью академика-мариниста Альберта Николаевича Бенуа, брата чудесного акварелиста Александра Николаевича Бенуа, со своим племянником Аликом, трагически погибшем во время бегства из немецкого плена. Алик подавал большие надежды, как все Бенуа. Не даром Билибин говорил, что все Бенуа «во чреве матери лежат уже с кисточкой в руках». Многие из этой исключительно талантливой семьи были и музыкантами. Мария Альбертовна поместила своего отца в Лаванду, и некоторые его эскизы «Ночь в Лаванду», «Закат солнца на морском берегу» у меня сохранились.

Муж Марии Альбертовны, Н. Н. Черепнин, был занят тогда странной на мой взгляд идеей — написать оперу на пьесу Островского «Бедность не порок». Эта прекрасная пьеса, вся насыщенная обывательской жизнью, не давала, казалось, места сверх-житейским поэтическим музыкальным эмоциям.

Одно время в рыбацком домике над самым морем жил А. И. Куприн с женой. Он все смотрел в окно на море, любовался им без конца и ему казалось, как он

говорил, что он плывет по морю и тогда беспредельны были его мысли и грезы...

И долго жил и, наконец, осел совсем со своим сыном и внуками в Ла-Фавьере писатель и бывший земец князь В. А. Оболенский, связанный с большинством Ла-Фавьерцев Крымом, где у него была дача в имении его тестя, известного земца — председателя Ялтинской земской управы, В. К. Винберга.

В Ла-Фавьере, как он говорил, он чувствовал себя почти, как в Крыму, лучше, чем где-бы то ни было; говорил, что когда умрет, то душой все также будет витать в любимом Ла-Фавьере. Похороненный вначале на кладбище С.-Женевьев, он был перевезен, по выраженному им желанию, на наше Бормское кладбище и похоронен рядом с могилой своей жены, высоко в горах, откуда виден наш Ла-Фавьер.

В последние годы жизни князь Оболенский написал прекрасные воспоминания, которые читаются с большим увлечением.

Жизнерадостные, песчаные, еще не так давно незнакомые широкой публике, пляжи департамента Вар привлекали к себе все больше туристов, особенно молодежь, и ее все меньше становилось в Ментоне, Ницце, Жуан-ле-Пен и даже в Каннах.

Но грянула война и особенное разорение принесла она в русскую Ла-Фавьерскую колонию.

Была зима, здешняя зима — с цветущими мимозами, белыми нарцисами, гелиотропами и крокусами, плантациями всяческих цветов на вывоз в Париж.

Сперва пришли войска итальянцев в оперных костюмах с перьями на шляпах, веселые, красивые. Они заняли лучшие особняки в Лаванду, устроили на пляже кинематограф и, кажется, меньше всего думали о войне. Затем пришли немцы и война началась.

Когда объявили войну советам, совершенно неразбиравшееся немецкое командование постановило, как меру предосторожности, выслать русских эмигрантов из «фронтовой зоны». Ими оказались в Ла-Фавьере только несколько старушек, зимовавших там, и они были высланы в Тулонскую тюрьму, где два дня спали на соломе, а затем, по ходатайству французов, были освобождены. Население в Ла-Фавьере и Лаванду приняло горячее в них участие и помогало, чем могло.

Немцы ожидали десанта в Ла-Фавьерской долине и построили на нашем пляже бетонные стены, противотанковые столбы, глубокие подземные траншеи, бункеры и для лучшего обстрела взорвали почти все русские дачи.

Великолепный флот американцев и союзников грозно занимал весь горизонт нашего моря и одним из первых снарядов была уничтожена наша, ближайшая к морю, дача.

Однако, десант союзников был сделан на дальнем неукрепленном мысе Лавандусского залива.

Разрушенный Ла-Фавьер безмолствовал многие годы; опустошенный, покинутый русскими обитателями, обезображенный взорванными дачами, срубленными соснами — настоящее кладбище прошлой жизни.

Вечером в Провансе

В глухом углу Прованса, на каменной террасе сидел мой старый друг сибиряк, заброшенный судьбой сюда так же, как и я.

Он поверял мне свои думы, высиженные в своем одиноком кабинете, где он подсчитывал ликвидации своих контор в Нью-Йорке и Лондоне.

Чужд был ему удивительный Прованс: все ему здесь казалось не «настоящим», а «настоящим» все еще

были его огромные предприятия хлопчатых плантаций в Туркестане, сахарный завод на юге России, меховое, а, главное — чайное дело около Кяхты, на границе с Монголией. Это была его родина. И с грустной улыбкой он говорил:

— Во всех моих прибылях я заинтересовывал моих служащих и рабочих... — «Не дури!» — говорил мне отец, а вышло так, что рабочие сами отстаивали мои заводы от власти революционных комитетов 1905-го года.

Грузный, с расстегнутым воротом на своей могучей сибирской груди, он отхлебнул холодного чаю.

Если сибиряк, может быть, менее сложен, чем российский человек с его думой и мечтой, если у него не было тяги к художеству — некогда ему было, — то была у него огромная тяга к знанию, он знал, что хотел, и особенно для устройства своей сибирской жизни.

В окружающую его тайгу не залетал соловей, не шелестели листя, не пели певчие птицы, — тайга молчала.

— Вы спрашиваете о Кяхте, — обратился он ко мне. — Это особая статья: это и Сибирь, и Монголия, и как пограничная область была на особом положении. Мы, как пограничники, могли обращаться к высшему правительству, минуя канцелярскую волокиту. Вдали от центра Кяхта была либеральна, как вообще Сибирь, и богата чаеторговлей. У меня были особые отношения с монголами. В те времена Монголия была под протекторатом Китая, и власть монгольского Ламы разделяли китайские чиновники.

Главный Лама жил в столице Урге, а окружные Ламы управляли своими округами. Я наладил в Монголии банки «Общества мелкого кредита». Они хорошо пошли, и Лама дал мне титул Монгольского князя. Лама принимал меня в своем монастыре, сидя на желтом пу-

фе, с желтой митрой на голове. По ритуалу мы говорили по-монгольски, хотя Лама хорошо говорил по-русски. Спрашивал: как здоровье? Нравится ли мне Монголия? — и угощал портвейном.

Мой друг замолчал, стряхнул осыпавшиеся цветы глицинии со стола и продолжал:

— А монастырь этот около Кяхты был большой, окруженный глиняной стеной — раньше это была крепость. Внутри — храм Будды, дом Ламы и келья монголов, работавших на земле и учивших окружных детей буддийской мудрости. А кругом холмистая степь с высокой травой летом и солнечными снегами зимой.

— А что они сеют и садят? — спросила я.

— Кроме чеснока и лука у них нет никаких овощей, нет, конечно, и фруктов. Едят они баранину, пьют молоко. Народ коренастий, крепкий, белолицый, носы тонкие, с горбинкой, как у кобчика. Женщины краснощекие с мелкими белыми зубами, не знающие болезней. Но они иногда заболевают туберкулезом, если начинают жить по-русски в душных избах, непривычных для них.

Их женщины допускаются в монастырь после 50-ти лет, но они должны обрить голову и ходить в мужском костюме. Около монастыря стоят столбики вроде фонариков, с мельничками. Монголы вертят ручку мельницы столько раз, сколько прочтут молитв и шепчут: — Мань, мань, мань.

Около монастырских стен происходят монгольские празднества. Амфитеатром на холмике сидят зрители, а внутри на сцене актеры в страшных масках изображают борьбу добрых и злых духов.

Много русских из Кяхты и прилегающего к ней Селенгинска ходят на эти представления, оканчивающиеся игрой трубачей на огромных трубах, как в «Аиде». Впрочем, у них есть особые скрипочки и дудочки.

У меня был один приятель монгол, женатый на русской, — мы с ним вели чайное дело. Он мне подарил две великолепные нефритовые вазы, — одну из них я отдал Горькому, собиравшему во время революции редкие вещи и особенно фарфор. Так этот монгол купил у Японии островок, где водились олени и ездил туда «на дачу».

Он задумался и мы замолчали. За его виноградником у ручейка, заросшего камышом и фитами, пел соловей и где-то далеко пел и другой.

И опять начались воспоминания.

— Я был молодым человеком, когда отец послал меня со своим «доверенным» в Китай учиться чайному делу. Я ехал с монгольским караваном, отвозившим русскую почту. Ехал мимо пикетов, улусов, через пустыню Гоби в Ханькоу, на верблюде, покачивался под его широкий мягкий шаг. Колокольчик под его шеей убаюкивал меня, а я читал Пушкина.

Научился выбирать чаи по запаху, вернулся в Москву и продолжал чайное дело отца.

— Да, — вспомнил он. — Ссыльные, помните, еще со времени Меншикова, Сперанского, декабритов и последующих, встречали в Сибири хорошее отношение и оказывали большое влияние на умственный уклад жизни сибиряков. Так же, как жены декабристов, учившие местных детей, — жены Кяхтинских чаеторговцев учили и жертвовали много на церковно-приходские школы, снабжая их прекрасными библиотеками, открывали гимназии, позднее — отделы Географического Общества. Сабашников первый пожертвовал 50.000 рублей на просветительные цели. Декабрист Николай Александрович Бестужев подарил моему тестю портреты декабристок, написанные маслом в романтическом духе и также сцены их повседневной жизни. Да вы, кажется, их видели.

— Да, да, — поспешила ответить я, — прелестные картины.

— Он же выписал семена цветной капусты, арбузов, дынь, которые хорошо привились и ими торговало вскоре местное население.

Н. А. Бестужев умер в Селенгинске подле Кяхты и мой тесть похоронил его в «Бестужевской пяди», где он любил бывать и ловить рыбу. Он же поставил памятник дочери декабриста Анненкова.

У нас в Иркутске, на месте нашего дома, жил когда-то в дни моей молодости, Сперанский и все еще стояла его беседка. Наискось стоял дом декабриста Сергея Волконского, — двухэтажный коричневый, деревянный.

Провансальская ночь окутала темным туманом нашу террасу и все кругом, и запела свою ночную песенку: где-то далеко совушка-сплюшка затянула свое нежное: «сплю, сплю, сплю» и кузенчики уютно застрекотали в траве. Прощаясь со мной, мой друг, улыбаясь, добавил:

— А известный бунтарь Михаил Бакунин, будучи племянником знаменитого генерал-губернатора Сибири Муравьева-Амурского и служа в его канцелярии в ссылке, задумав побег,получил деньги «взаймы» от губернатора и тот отвез его в собственном экипаже до Сретенска на Амуре, где Бакунин сел на пароход и затем доехал до Западной Европы . . .

Мы расстались.

Плохо чувствуя себя, мой друг перебрался в соседнюю Провансальскую деревушку в горы . . .

Там на площади с каменным фонтаном, когда-то увенчанным вазой, теперь обросшей мхом и водяными травами, все еще струился ручеек прозрачной воды. Там навестила я его.

— Как себя чувствуете, дружок?

— Отвратительно, волнуясь и задыхаясь ответил он...

Через несколько дней его жена нашла его мертвым на скамейке перед фонтаном.

Говорят, умирая, Чехов сказал:

— Пустому серцу нечем биться!

Это можно было бы сказать и о моем друге.

Прованс

При спуске из Тулона, вся огромная равнина внизу перед нами, а сбоку длинная столовая гора разноцветная: то фиолетовая, то сине-зеленая, то розовая, как земля под нею. По окружающим холмам стекают вниз зеленые виноградники с маленькими сторожевыми домиками и редкими темными кипарисами — все располагает к умозрительному покою и напоминает своими очертаниями пейзаж Греции и Италии, а многочисленные местные языческие святилища так много говорят о них.

Много веков назад отсюда римляне начали свое наступление на Галлию и Прованс, и на столовой горе, все еще носящей название Сент Виктуар, стоял в древности языческий храм. У подошвы этой горы римский полководец Марий разбил полчища Кимвров и Тевтонов, угрожавших Риму.

Эту гору любил рисовать провансалец Сезанн.

Вот городок Сен Максимэн, знаменитый по реликвиям св. Марии-Магдалины. В прекрасной церкви показывают ее саркофаг, а также и свв. Марселя, Сидония и Максимилиана, имя которого носит местечко. Легенда говорит, что св. Максимилиан, один из 72-х учеников Иисуса Христа, построил здесь часовню, в которой похоронил св. Марию-Магдалину и принял ее последний вздох, в ее убежище-пещере в соседнем местечке Сен

Бом. Церковка была разграблена маврами, но монахи успели спрятать тела святых в крипте. В 1279 году Карл II д-Анжу открыл крипт, нашел саркофаг — шедевр первых веков христианской эры, и нетленные тела святых и построил здесь церковь. Легенда говорит также, что св. Мария-Магдалина прибыла в устье Роны в местечко, теперь носящее ее имя, и поселилась в Сен Бом на скале в пещере, окруженной лесом с видом на далекое море, где все так располагало к молитве и созерцанию.

До прихода римлян сердце Прованса населяли лигуры, от Марселя до подножия Альп, народ еще мало изученный историками и родственный, судя по остаткам их культуры, этрускам, жителям северной Италии.

Это был разбойничий народ, скрывавшийся в расщелинах скал и при вражеском нападении больше надеявшийся на быстроту своих ног и глубину своих ущелий. Лигуры долгое время уклонялись от встречи с римскими легионами, пока между двумя Пуническими войнами, в 233 г. до Р. Х., римский консул Фульбиус не сжег кругом леса и не «выкурил» их из ущелий, покорил их и оставил им «железо» для обработки их полей.

Географическое положение городов определяет их характер и историческую судьбу.

Экс-ан-Прованс — сердце Прованса, между Галлией и Италией, приняло на себя все первые удары римского оружия. Римский консул Секстиус основал здесь город под названием Акве-Секстиус по местному лечебному источнику, которым пользуются больные теперешнего времени, построил здесь термы и держал здесь военные посты для наблюдения над лигурами и галлами, но время погребло Акве-Секстиус под теперешним Эксом.

В настоящее время город сохранил свой облик XVI столетия, времени Провансальского Парламента, стоявшего на месте теперешнего Пале де Жюстис.

Как в древнее время Акве-Секстиус посещался богатыми римлянами, пользовавшимися целебными источниками, так и в позднее время — провансальской аристократией. Вокруг Парламента она строила свои отели и многочисленные прекрасные фонтаны. Под меланхолическое их журчание кажется, что века остановили свое течение, и с удивлением смотришь на классическую, с кариатидами, архитектуру и в открытые окна видишь прежние сеньоральные особняки, с расписными потолками, кружевными железными лестницами, теперь населенные бедными людьми, и их белье сушится на прекрасных балконах. А в прежние времена почти вся провансальская аристократия была представлена в этом городе! Теперь это город «un peu ville morte». Прекрасен городский музей с его античными художествами, с картинами Поля Сезанна, Матисса, бюстами Гудона, портретом де Сюффрена, Калиостро (не то ясновидящего, не то шарлатана), Ван-Гога, скульптурой лигуров. Много в церквах средневековых прекрасных «примитивов», особенно в соборе Христа Спасителя, построенном на месте античного храма Аполлона. Под Эксом погребен античный мир и его окрестности так характерны для него: смесь греческого, римского, галльского, лигурийского . . .

Иногда пейзаж строгий и даже грустный с голыми скалами, иногда ласковый, прозрачный, особенно там, где вытекают источники воды, среди одуряющих пряных трав и растений. Вот источник, посвященный когда-то нимфам: здесь найдены в развалинах статуи и надписи в честь местных нимф, остатки храма с коринфскими колоннами, относящимися к I веку до Р. Х. В

этой мистической декорации как бы царит присутствие языческих богов античного мира.

Прованс во многом принадлежит ему. Недаром здешние провансальцы тихи и хвалят тех, кто «ne fait pas de briut». Может быть сложное, великое прошлое еще воздействует на них.

Вот гора, утопающая в зелени густых деревьев, скрывающих наполовину прекрасный замок, где жил мыслитель XVIII в. Вовенарг, и неподалеку часовня Сен Баш на месте древнего святилища, посвященного Бахусу.

*

Кругом типичные провансальские городки: Salon, Lambesc, Les Beauz, Noves, Carpentros, St. Remy . . .

Они поражают вас тихим величием, таким простым в своем благородстве. Старинные дома, некоторые сеньоральные, прекрасные церкви конца готики и начала ренессанса, прекрасные музеи. В этих древних городках родилось много исторических личностей. И несмотря на то, что в средние века феодалы и сеньоры соперничали друг с другом, разоряя Прованс, и в этом им помогали мавры-сарацины, — эти города остались такими, какими их создали века. И живопись, и ваяние Прованса носят в себе свой личный характер, начиная от неизвестных средневековых художников, кончая Сезанном.

Вот городок Солон, столица продажи оливкового масла, где приятно бродить между прекрасными зданиями Отель де Вилль XVII в., замком архиепископа Арля, где помещается теперь музей. Солонцы живут обособленно, вдали от больших дорог, и говорят, что последняя война произойдет около их города и после нее настанет вечный мир.

Вот Ле Бо на склоне гор, окруженный грандиозными развалинами стен и башен. Дольмены, римский

акведук с подземными ходами, остатки доисторических жилищ, лигурские убежища: — все полно древних легенд и сказаний. Это уже умирающий город, где дома постепенно превращаются в камни.

В старой церкви, после литургии, тоже особенной, древней, на Рождество религиозная процессия приносит в жертву ягненка.

И, наконец, городок Сен Реми, рядом с бывшим римским городом Glanum, сам наследник греческого города, разрушеного варварами в 3-м веке. Наверху Сен Реми среди зелени высятся чудный мавзолей, посвященный римской семье Юлиев, и прекрасная триумфальная арка и целая улица, вся в колоннах древнего римского города, много мозаики, остатков храмов и базилик . . .

В Сен Реми жил Нострадамус (род. в 1503 году), которого «Les Centuries» очень серьезно изучает Прованс, и здесь же родился сказочник Руманиль.

Мы спускаемся в одну из бесчисленных долинок, перерезанных отрогами гор, и долго едем вдоль горы Венту с окружающими ее холмами, покрытыми душистыми растениями, убежище диких пчел. С вершины горы Венту виден весь Прованс от Марселя до Монблана и южнее — до итальянской границы. Гора Венту — самая высокая гора долины Роны (1.912 м.), покрыта грабами, соснами, со свежей травой даже в жаркое лето, с прекрасными пастбищами, вдали от больших дорог.

Между отрогами горы Венту и Мон де Воклюз находится городок Фонтэн де Воклюз, жилище Петрарки, где он, по выражению Стенделя, «жил, любил и писал». Здесь он воспевал свою любимую Лауру, своих любимых древних писателей, Рону и Фонтэн де Воклюз, где в глубине зеленых скал вырывается речка Сорг, блестя на солнце своими прозрачными изумрудными водами.

Сюда особенно любил приходить и любоваться лазурью потока Петрарка. Он жил здесь 22 года, недалеко от этого источника, в мрачной средневековой башне, где было так много холодного камня: каменный пол, потолок, стены и так мало солнца! Это теперь его музей. Посреди — витрины с его книгами первых изданий его стихов, его портреты; простая тяжелая дубовая мебель . . . И уходил он отсюда в свой огород, к источнику Сорга и в скалистые, соседние, уютные долины, откуда писал: «Вот моя жизнь. Я встаю около полуночи и при восходе солнца выхожу; но и на природе, как и дома, я изучаю, я размышляю, я читаю и я пишу.

Целый день я посещаю голые скалы, прохладные долины и гроты; я прохожу по обеим сторонам Сорга, не имея никого подле себя, не встречая никого на моем пути, полный своими заботами, которые день ото дня делаются менее жгучими . . . Тут я во власти моего Рима, моих Афин, моей родины.

Все друзья, которых я имею, или которых я имел, и не только те, которых я видел своими глазами и которые охраняли мою жизнь, но и те, что жили в минувшие далекие века и знакомы мне только по книгам — люди, которыми я восхищаюсь; их действиями, их характерами, жизнью и нравами, и еще языком и гением, — различные друзья, явившиеся из разных мест и в разные времена — я их часто вспоминаю в этой узкой долине». Поэт предпочитал свой маленький Воклюз, — оазис деревенской тишины, весь пейзаж изысканный и успокаивающий, шумному в его времена Авиньону, полному тогда празднеств, интриг и пышных папских процессий.

Поэт, влюбленный в Лауру . . . Кто она была? Неизвестно. Может быть она и не существовала вовсе? Но она существует в его поэзии, в его произведениях и в человеческой истории.

Мирты и лаванда, поэзия истории юга включена в меланхолию Воклюза, в грусть неотразимую и величественную произведений Петрарки. Он оплакивал в своих стихах Италию, древний Прованс, весь античный умирающий юг.

Петрарка плакал от радости, увидя старинный манускрипт Гомера, трогал его руками и целовал этот свет эллинизма, это сокровище человечества.

Историк Мишле пишет: «Я тоже плакал, как Петрарка, когда покидал эти прекрасные места»...

*

Мы приближаемся, лавируя между холмами с греко-римскими названиями: Тэос, Марс, Пнимэн, — к городку Вэзон ля Ромэн, вполне оправдывающий свое имя, а чистота, прозрачность горизонта так соответствует его античности.

Много племен исторических и доисторических населяло эту прекрасную местность, а после победы римлян во II веке до Р. Х. Вэзон ля Ромэн становится одним из самых значительных городов римской Галлии. Христианство проникло сюда в 314 году, но оно не изменило лица римского города, и в продолжение нескольких веков жизнь текла здесь почти неизменно по римскому укладу, только языческие храмы и театры пострадали и дали свои камни, колонны и украшения на собор Богоматери эпохи Меровингов (8-й век) и на другие здания.

Затем это был феодальный городок графа Тулузского и галло-римская часть захирела: город новый, средневековый, с замком был построен на соседней горе.

Раскопки Вэзон де Ромэн начались в 1907 году и сразу открыли этот замечательный римский город.

Идешь в гору в маленький, очень ценный музей, берешь билет на вход в римский город и спускаешься

к нему по аллее черных старых кипарисов, у подножия которых стоят заброшенные римские пустые гробницы.

Вот прекрасный античный театр, ступеньки внизу подходят к мозаичному бассейну и сцене. Наверху ряд прекрасно сосхранившихся колонн. Около театра богатые большие развалины дома «Мессиев» и улица с портиком «Помпея» и далее небольшая улица «Нимф», окруженная доходными домами. В доме «Мессиев», в одной из колонных зал была найдена прекрасная голова мраморной Венеры (в 1925 году), находящаяся в местном музее. Дом украшали фрески и мозаичные полы. На портике улицы «Помпея» найдена статуя, копия Поликлета, увезенная в Лондон в Британский музей. В одной из них стояла статуя имп. Адриана: у него героическая поза, прекрасное лицо, — характерная греческая скульптура! В другой нише стояла тоже прекрасная статуя императрицы Сабины.

В музее много урн, ваз, статуя Бахуса и Ариадны из бронзы и наконец серебряный бюст. Этот драгоценный бюст найден был в перистиле с элегантным атриумом богатого дома, 12 колон поддерживали его крышу, сзади дома прекрасный сад с бассейном, — сюда выходили жилые комнаты, украшенные мозаикой, скульптурными столами, ваннами. Серебряный бюст покоился под грудой обвалившейся черепицы. Неизъяснимой прелестью овеяны эти роскошные развалины, сады полны роз — забота местного музея.

Рона соединяет Прованс с центром Франции, Дюранс с Альпами, и замки на этих реках не менее значительны, чем замки Луары. Они блестят изысканностью своей архитектуры, такой сложной в сложном Провансе, своей историей. Понемногу жизнь уходит от них, новая жизнь не касается их. Их прелесть соединена с особенностью романо-провансальской художественностью и археологическими ценностями. Много римской

строгости, где язычество так часто переходит в христианство. На храме в местечке St. Paul-Trois-Châteaux барельефы изображают символических животных, фигуры Зодиака, быка Митры, священных гусей и пр., и пр.

На севере Прованса находится великолепный замок городка Гриньан, расположенный на горе, окруженный зеленью и прекрасными домами. В этом замке жила и умерла мадам де Севинье в 1696 г. Великая революция прошла тут, рассеяла прах этой замечательной писательницы, а также и прах всех графов де Гриньан.

Мы спустились к Оранжу, знаменитому по своему великолепному римскому театру, эпохи имп. Адриана, в котором и по сие время даются торжественные представления, а также по Триумфальной арке, такой прекрасной, что хотелось бы ее поставить под стекло, построенной для триумфальной победы имп. Тиберия над восставшими галлами.

Впоследствии Оранж сделался сеньорией графов Нассау, назвавшихся князьями Оранжскими. Во время революции многие дворцы и храмы, создание Рима, были уничтожены. Здесь так же, как и в Гриньан, революция была жестока вследствие местного сопротивления.

Ниже по Роне лежит Авиньон, бывшая римская колония, не оставившая здесь после себя ничего ценного. После войн Гвельфов и Гибелинов в Италии папы переселились в Авиньон и начали постройку нового Авиньона, с могучими военными укреплениями и дворцом, отделанным итальянскими и провансальскими художниками, обставленным прекрасной французской мебелью.

Время пребывания пап в Авиньоне было полно постоянных празднеств, пышных религиозных процессий, веселой музыки и сюда съезжались люди со всей Европы.

*

Спускаясь далее вниз по Роне, мы попадаем в Тараскон, прославленый Додэ. «Во Франции все немного Тартарены», говорил автор «Тартарена из Тараскона».

В древние времена, говорит легенда, Тараскон и его окресности опустошало легендарное чудовище по прозвищу Тараск до того дня, пока не приехала святая Марта со своим братом, воскресшим Лазарем, и Тараск навеки погрузился в Рону. Св. Марта жила в Тарасконе до своей смерти, и на месте ее могилы с ее саркофагом была построена церковь ее имени в XII веке. Во время праздника св. Марты жители несут изображение Тараска, сделанного из материи и картона, и погружают его в Рону.

Старый замок Тараскона превращен в местный музей.

Против Тараскона, по другую сторону Роны, находится городок Боклэр, где останавливался Людовик Святой перед крестовым походом. Знаменитая здешняя часовня Сен-Габриэль замечательна своей отделкой, где романские мотивы чередуются в оригинальной гармонии с древне-восточными.

Зеленая, сочная долина Роны богата фруктами и овощами, особенно около впадающей в нее р. Дюранс, где находится дом «Maison du Lézard» провансальского поэта Мистраля, воскресившего провансальский язык, провансальские традиции и любовь к ним.

Вот город Арль, где поэт Мистраль употребил свою Нобелевскую премию на создание музея Прованса.

Да, весь Арль — музей древностей!

Основанный греками, он скоро сделался римским городом, сохранив свой греческий герб, изображавший древние суда на бурдюках, как мы их видим на сирийских и мессопотамских изображениях. Нынешний Арль построен на костях античного мира, и в данное время

археологи надеются открыть его форум. По дороге — via Aurelia — стоят языческие и христианские усыпальницы, такие похожие друг на друга — некрополь носит название Champo Elisii — Шан-з-Элизе. Многие из прекрасных саркофагов взяты на украшение дворцов, церквей, музеев. Карл X нагрузил ими свою баржу, потонувшую в Роне. Арльская Венера, подаренная городом Людовику XIV, украшает Лувр. При имп. Августе были построены амфитеатр, форум, термы и пр.

Арль легко принял христианство, принесенное сюда св. Трофимом, посланным, по преданию, апостолом Петром. Он построил храм, который менял свой вид в течение веков, носящий теперь имя св. Трофима и весь его чудесный романский стиль украшен скульптурой античного мрамора.

Историк Мишле пишет, что в Арле в его время было 20.000 жителей, а при римлянах 100.000 и прибавляет: — «Теперь он богат только мертвыми и гробницами».

То же можно сказать и о великолепном античном городе Ниме, соседнем с Арлем, но он требует отдельной статьи.

На другой стороне притока Роны стоит город Сен Жиль, любимый архитекторами за его аббатство с барельефом, взятыми из древних восточных стран.

Громадные озера Камарга не знали ни больших войн, никаких происшествий и стоят они веками неподвижные, населенные розовыми фламинго, бобрами, стадами полудиких быков и лошадей, по местному определению «poney mongol Prjevalsky». В настоящее время в Камарге стали разводить много прекрасного риса.

Как мы уже упоминали, — географическое положение города определяет его судьбу, его исторический характер.

Марсель, лежащий в прекрасной бухте Средиземного моря, имея за собою богатую страну, с самого начала своего существования и во все время своей последующей жизни был большим средиземным торговым портом.

В античные времена два народа были во главе международной торговли и цивилизации: финикийцы и греки. Финикийцы плавали по всем морям, продавая свои товары: материи, пурпур, оливковое масло, стекло, урны, в обмен на иноземные продукты Галлии: скот, овощи, а также упоминаются галльские гранаты и кораллы с островов теперешнего Иера.

Финикийцы показали грекам путь в будущую греческую Массалию — Марсель. Вначале грекам пришлось вести борьбу с окружавшими их Массалию лигурами, исконе населявшими юг Прованса, но вскоре взаимные торговые интересы сблизили их, лигуры и галлы стали своими людьми в Марселе.

Марсель, такой далекий от Греции, удивительно сохранил свой греческий характер, а между тем на море греки встретили большой флот этрусков и карфагенян, но вскоре в войне с Сиракузами этрусский флот был уничтожен, и Сицилия и Карфаген покорены Римом.

Тогда Марсель расправил свои крылья и основал свои многие колонии — Ниццу, Монако, Антиб, Ольвию, Брюск и др.

Середина IV века до Р. Х. была уже апогеем Марсельской республики. Это был автономный город, с аристократическим строем, и его законы впоследствии восхищали Цицерона!

Во время Пунических войн Марсель втянут в орбиту военных действий Рима и помогает ему своим флотом в борьбе с Карфагеном, хотя, по словам Тита Ливия, «галлы, пришедшие с греками, не силой сопротивлялись: ночь спали далеко от знамен, в полях, а днем

были удручены сном и жарой; они мягкотелы и неспособны к сопротивлению».

В свою очередь греки просили защиты Рима от варваров, а после уничтожения Марием Кимвров и Тевтонов и основания place d'armes Aix-a, Марсель входит в состав Нарбонской римской провинции (102 г. до Р. X.). Марсель был сложным городом, погруженным в космополитическую деловую жизнь.

Римляне начали посещать марсельские школы, известные своими практическими науками: медициной, риторикой, но не философией.

Франциск I построил Шато д-Иф для защиты порта; он связан с романом Ал. Дюма — «Монте Кристо», а два года тому назад около исрских островов были вынуты из моря тысячи античных амфор и ваз.

Людвик XIV и Кольбер восстановили торговлю и сделали Марсель порто франко в 1669 г. И Марсель опять расцвел вплоть до революции, когда становится противником Наполеона.

*

Литуры, греки, римляне и до них доисторические неизвестные племена оставили в окрестностях Марселя бесчисленные памятники: руины какого-то Капитоля около деревни Моран, римские туннели, триумфальные арки, акведуки. Огромный Etang de Berre частью окружен земляным валом, с развалинами прекрасного мрамора греческого городка Маритима Аватикорум, в соседстве с развалинами местечка лигуров; с холмами, покрытыми тмином, розмарином, соснами, с ослепительными соляными копями — весь этот пейзаж, тихий и скромный, носит в себе спокойную прелесть наследия древности.

Вся южная часть Галлии, покоренная Римом стала называться римской провинцией и притом самой бога-

той и романизированной. Если финикийцы и греки довольно мирно уживались с окружающими лигурами и галлами, то римское наступление на Галлию было завоевательное и воинственное.

Богатая Галлия с огромными стадами скота, особенно свиней, прекрасными плодами и хлебом, но разделенная на множество племен, враждовавших друг с другом, была легко победима. По словам Юлия Цезаря, при завоевании им Галлии она потеряла 1 миллион убитыми, «рабами и вождями», страна разграблена и опустошена. Но после победы и присоединения Галлии к Римской Империи, Юлий Цезарь проявляет к ней чрезвычайную мягкость. Он начал вводить римские нравы, обычаи и культуру, создавая местные сенаты, народные собрания, магистратуру и пр., а в III веке Прованс и прочие провинции получили римское гражданство. На знаменитой лионской бронзовой плите была начертана речь имп. Клавдия о допущении галлов в римский сенат, и имп. Клавдий восклицает: «Посмотрите на эту великолепную могущественную Виеннскую колонию: она уже посылает нам сенаторов».

Великие строители, римляне, основали многие города в Провансе и оставили после себя грандиозные памятники архитектуры местного благоустройства: бани, театры, храмы и пр. Увы! большинство из этих великолепных памятников в дальнейшую историю Франции пришло в упадок и запустение, но воздействие древнего Рима до сих пор сказывается во всем Провансе и придает ему особое значение и очарование.

Прованс более романизарованный, чем другие провинции, стал давать своих историков (Трок — Помпей), писателей (Корнелиус Галлус родом из Фрежюса, друг Виргилия), оратора Гнифо, устраивавшего свою кафедру в доме Юлия Цезаря и императоров. Ним дал одного из лучших римских императоров Благочестивого Ан-

тония, Клавдия и пр. Так создалась Галло-Римская Империя, так скоро погибшая!

И не столько нашествие варваров было этому причиной. Кимвры и Тевтоны были не менее опасны для Рима, но тогда был расцвет римской гражданственности, а потом упадок ее. Общая распущенность, тирания наместников в провинциях и магистратуре, исчезновение мелких собственников на землю, поглощение их крупным землевладением, заменившим их рабами, в результате чего земледелие катастрофически упало, хлеба не было; уничтожена была и мелкая индустрия, а крупной не существовало еще.

Начались восстания, иногда руководимые христианами.

Старый Рим изживал себя.

Прованс первый охристианизировался, хотя в свое время охотно принял язычество от Рима и оно оставалось в Провансе более жизнеспособным, чем в других местах, только оно видоизменялось и масса языческих обрядов вошла в христианские и теперь так трудно восстановить происхождение каждого из них.

Интересно отметить: восприятие христианства совпало с падением в Риме язычества. Оно уже не удовлетворяло римлян, они бросились искать других богов и искали их на Востоке. Этим объясняется популярность в Риме и в Провансе восточного бога Митры. Все эти процессии Тараска в Тарасконе, празднества чудодейственного быка — Митры, религиозные процессии, во главе которых ведут барана (в язычестве для приношения жертвы) и пр. и пр., сохранились до сих пор, — наследие языческого прошлого.

*

Берег морской от Марселя до Италии перерезан многочисленными большими и малыми бухтами.

Первый от Марселя — Кассис — прелестный городок в уютной бухточке, населенный рыбаками, окружен виноградниками и оливами, любимый поэтом Мистралем и нашим композитором Глазуновым.

Рядом высятся верфи Сиота, наследственная от грандиозных верфей античности. А далее идет — Бандоль, Санари и наконец Тулон с его великолепным рейдом, с окружающими его горами, легкими, как облака. Стратегическое значение Тулона началось еще с римских времен, и императорский флот Рима часто стоял в бухте Тело-Мартиус. Мавры также часто посещали Тулон, как и все побережье.

Окрестности Тулона прекрасны: цветы, птицы, развалины греческой Ольвии, Иэр с его пальмами, апельсинами, особенно мягким климатом, любимое местечко королевы Виктории. И райские, по своей субтропической растительности острова Иэрские — Пор Кро, Иль дю Леван, Поркероль — убежища нюдистов, туристов и молодежи . . . Многообразен Прованс по природе, многообразен и по своей сложной исторической культуре — все наложило печать на прекрасный Прованс.

СТАРОДАВНИЕ ВРЕМЕНА

Дорогой памяти Н. А. Врангель

КИММЕРИЙЦЫ, АМАЗОНКИ

«Да будет мне позволено некогда познать киммерийские озера, когда лицо мое побледнеет от морщин старости и я, старик, буду рассказывать детям о стародавних временах».

Элегия Альбия Тибулла — поэта времени имп. Августа

На заре туманной юности человечества, в бронзовый век, южно-русские степи уже были заселены оседлыми землепашцами. «В доисторические времена степи России были носительницами необычной, интенсивной и богатой культуры, может быть ирано-фракийской», — пишет акад. М. Ростовцев.

Трипольская археологическая экспедиция, начавшая свои работы в 1934 году по исследованию территории древних поселков, показала, что правый берег Днепра был густо заселен в третьем и втором тысячелетиях до нашей эры. Известно уже свыше 30 трипольских доисторических поселений Киевской губернии.

Около 2500 г. до Р. Х. пришли в южно-русские степи киммерийцы и рассеяли народ, который Геродот называет нерами, народ хлебопашцев, оседлый, с первой сохой, превративший кочевую жизнь в оседлую. Эти неры исчезают с приходом киммерийцев, как заколдованные.

Кто были киммерийцы, этот могущественный древнейший народ европейской культуры, народ, воспетый Гомером?

Мы не знаем его языка, от него осталось мало предметов домашнего обихода, но Геродот говорит, что он

пришел в Причерноморские степи через Керченский пролив, получивший имя Боспора Киммерийского.

Здесь, на юге Азовского моря, в центре Киммерийской цивилизации, они основали свою столицу Киммерикум, доступ к которой был перерезан глубоким рвом. Остались фундаменты квадратного акрополя, храма Дианы и мола, виденного Дюбуа де Монперре в 1834 году.

Это был народ матриархальный, с культом женского божества — то Дианы, то халдейской богини Астарды и ее спутника Сенерга. Ассирийские письмена изображают киммерийцев, как воинственных всадников на бешено скачущих конях, с копьем, луком и мечом у пояса.

В VIII в. до нашей эры киммерийцы были вытеснены из русских степей скифами, пришедшими из Иранского плоскогорья. Часть киммерийцев спаслась в Венгрию и далее в Западную Европу, часть укрылась во Фракии, а часть через Крым и Кавказ бежала в Малую Азию, где они «опустошали святилища богов» и им не могли противостоять ни Фригия, ни Синоп, и они помогают в уничтожении агонизирующей ассирийской столицы Нинивии в 612 г. до Р. Х., пока, наконец, не были рассеяны Лидией и история перестает упоминать о них.

Киммерийское же искусство, с его бронзовыми изделиями, продолжало жить на Украине, как крестьянская культура в то время, как там создавались очаги скифо-эллинской промышленности и образованности.

*

С киммерийцами связана история амазонского племени. Много темного и фантастического в истории амазонок, несмотря на то, что ими интересовались не только древне-греческие и римские историки и писатели, но

и современные ученые, и среди них особенно академик М. И. Ростовцев.

Амазонское «грозное» государство создалось первоначально на анатолийском побережье Черного моря, где хозяйничали одно время и киммерийцы у реки Формодонта. Там одна из «славных» амазонских цариц построила «великолепную», по словам древних историков, столицу Фемиссиры.

Геродот рассказывает, как «в давно прошедшие (для него. Л. В.) века» греки одержали победу над амазонками около их столицы и как, возвращаясь на трех кораблях со своими пленницами, греки были перебиты и выброшены в море. Управлять кораблями амазонки не умели и занесли их ветры в Меотийское (Азовское) море и высадились они на берегу «благородных» — по выражению Геродота — скифов, в то время уже занимавших русские степи. Высадившись на берег, амазонки захватили первый попавшийся табун лошадей, и во время боя со скифами последние узнали, что они воюют с женщинами. «Скифы, — говорит Геродот, — назвали амазонок Оиорпата, — мужеубийцами, и все же не побоялись брачного союза с ними».

Осев на Дону, амазонки делали набеги на обе стороны реки, отделявшей, по древним понятиям, Европу от Азии.

«Подпоясанные золотым поясом, придерживавшим повязку на груди, в короткой тунике голубого или зеленого цвета, с фригийскими колпачками на голове, прикрываясь лунообразным щитом, они мчатся с шумом и криком через леса и пустынные скифские степи, поражая луком Дианы», — так их описывает Вергилий.

Их лица воодушевлены удивительной отвагой, такими мы их видим на древних изображениях и вазах. И всегда в битвах . . .

По мнению М. И. Ростовцева, их связь с киммерийцами очевидна: придя на Придонские степи, они опять очутились в соседстве с киммерийцами, народом тоже матриархальным.

Дон и Кубань в древние времена

Придонские и прикубанские степи! Они безбрежны, как море, и представляют собою прекрасную дорогу для нашествия разных племен и народов. Во время переселения народов, происходившего по этим степям, были сокрушены целые государства и уничтожены многие племена.

Различна история и культура Дона и Кубани. Обе эти области в древности зависели в экономическом отношении от соседнего могущественного Боспорского царства с его столицей Пантикапеем (Керчь). Боспорское царство развивалось за счет Дона и Кубани. С прикубанских, а особенно придонских земель, оно получало хлеб, кожи, железо, золото, рабов и торговало в свою очередь с античным миром, главное — с Грецией.

Бесчисленные курганы, драгоценные хранители великого прошлого, окружают обе эти реки. Кубань была эллинизирована с начала VI в. до Р. Х. и всецело слилась в государственном и культурном отношениях с греческим Боспорским царством. Не то было на Дону — Танаис в древности. Населенный различными меотийскими племенами, жившими на Дону и на берегах Меотийского — Азовского моря, этот край всегда сохранял свою местную культуру и государственную независимость, несмотря на тесный контакт с греками.

У устья Дона — границы в те древние времена Европы и Азии, жили савроматы, происшедшие, по словам Геродота, от союза амазонок со скифами. Это было ма-

триархальное племя, — женщины ходили на войну вместе с мужчинами. Эллины, а ранее и скифы называли савроматов гинократуменами, т. е. управляемыми женщинами.

Вверх по течению Танаиса жили богатые аорсы: через их придонские степи шли караваны из Китая, Индии и Алтая, и эта торговля чрезвычайно обогатила аорсов. Оружие их и одежда были украшены золотом.

Их соседи сироки и фатеи славились своими прекрасными садами, каменными домами и укреплениями. Древние писатели красочно рассказывают, как сын Боспорского царя завоевывал столицу Испа, как он должен был вырубать дремучий лес, чтобы достигнуть каменного дворца на горе, окруженной земляным валом и деревянным городом с домами на сваях.

В 1852 году в этих местах жил молодой Лев Толстой. В его повести «Казаки», как и фатеи разводят виноградники, фруктовые сады, занимаются рыбной ловлей и охотой. «Станица обнесена земляным валом и колючим терновником, дома все подняты на столбах и покрыты камышем. Мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих леса, к этой темной зелени, к этому пахучему жаркому воздуху»...

Соседи фатеев — гелоны, известные в древности, как прекрасные земледельцы, и другие племена, жившие на Танаисе-Дону и на припобережье Меотийского-Азовского моря, носили общее название — меотов.

Эти племена не отличались мирными наклонностями. По свидетельству Страбона, знаменитого географа: «Одни из меотов подчинялись Танаису (столица меотов), другие Боспору, а временами не подчинялись никому»...

Они сеяли пшеницу, ячмень, просо, гречиху, лен и коноплю, пахали на волах, молотили зерно лошадьми

на кругу и сбывали товар в Пантикапей и Грецию. По словам Демосфена — Придонье и Прикубанье вывозили в Боспорское царство около миллиона пудов одного хлеба.

Путь в Меотиду был давно известен эллинам и даже египтянам: в 1937 году на берегу Меотийского моря была найдена ионическая керамика VI в. до Р. Х. и амулеты и скарабеи из египетской пасты. Казаки Синчков и Максимов, ломая камень около города Танаиса (Недвиговка) нашли богатый клад античных золотых изделий, пантикапейские чаши, бронзовые светильники, мегарские вазы и пр., сданные в музей. Проф. Кларк передавший в середине прошлого столетия много ценных находок в Кембриджский университет, нашел на пристани столицы меотов китайские и индийские монеты.

Танаис — своеобразный античный город, населенный меотами, греками, евреями, персами. Все эти народности связаны друг с другом общими интересами и прекрасно уживаются друг с другом. Сохранилось много античных памятников. Особенно известен огромный мраморный рельеф Трифона — «царского наместника», скачущего на коне, как донские казаки, с копьем на перевес, без щита, но в кольчуге, как наши сказочные богатыри, с остроконечным шишаком на голове.

У всех народностей Танаиса общая религия: поклонение греческому Олимпу с Посейдоном, покровителем морского пути, во главе. Евреями было принесено понятие об «едином милостивом Боге». Общий язык — греческий смешанный с меотийским.

Город богат. Его окружают двойные стены. Площадь мощёная камнями, фонтаны, дворец с четырьмя башнями по углам. Вокруг города — бесчисленные мазанки рыбаков, крытые камышем. А дальше — курганы, хранящие богатство, славу и величие обитателей придонских степей . . .

Кубань — Гипанис в древности

Кубанские казаки осели на развалинах древней восточно-эллинской культуры.

«Кубанские степи, — пишет академик Ростовцев, — первые связывают юг России с историей народов Востока, этой колыбели всех наций, мудрости и искусства». Знаменитый Майкопский курган (раскопанный Веселовским) дал прекрасные художественные золотые изделия — женские украшения «звериного стиля» бронзового века.

Вся античная земля Таманского полуострова к югу от Меотов, орошается Кубанью и в древности была не та, что теперь. Тысячелетние извержения нефтяных и грязевых сопок и зыбкая почва Таманского полуострова, способствовали этим изменениям. Острова вырастали и исчезали, реки меняли свое течение, холмы и возвышенности, на которых греки любили ставить свои храмы, обрушивались, погребая чудесное прошлое.

В средние века кочевники пришли на богатейший чернозем прикубанских полей, и их бесчисленные стада вытоптали землю, уничтожили леса и рощи с чудесными памятниками эллинского искусства и дальнейшая история Таманского полуострова покрывается глубоким мраком.

За много веков до Р. Х. пришедшие на устье Кубани эллины основали свои цветущие колонии там, где было возможно устроить пристань для судов и склады товаров. Их комиссионеры заготовляли зимой соленую рыбу, кожи, хлеб для отправки весной в Грецию. Очень скоро весь Таманский полуостров покрылся греческими городами, в совершенстве эллинизированными, несмотря на присутствие чуждых аборигенов страны.

Это была азиатская часть Боспорского царства и берега Гиппаниса — Кубани славились своими священными рощами, где стояли храмы, своими лебедями, гу-

сями, фазанами, фруктовыми садами, а леса — дикими ослами, антилопами и оленями. Древние греки говорили: «Здесь вино было обильно, мед свеж, а женщины славились своей красотой и домовитостью».

Эллинская культура охватила всю прибрежную часть Таманского полуострова. По дорогам попадались памятники, фонтаны с мраморными масками Фавна и Селена.

Вот памятник богине Деметре. На пьедестале надпись: «Аристаника, жрица Деметры, дочь Ксенохрита, воздвигла эту статую Деметры в память своей дочери».

Отсюда придорожные столбы указывают, что до Фанагории — столицы азиатского Боспора и ее пригорода — Кипы (сады) осталось немного стадий.

Пригород Фанагории — Кипы — родина матери и жены Демосфена. И та и другая были скифками. Здесь было их большое имение. Богатые фанагорийцы строили в Кипах свои загородные вили. Страбон рассказывает, как местные жители купались в море, лежали на солнце на пляже, устраивали празднества и банкеты. Он прибавляет: «Каждый развлекался, как хотел, радуясь и наслаждаясь жизнью... Любовались морем и зелеными берегами. Дожди шли часто, и поля были полны цветов: анемоны, ирисы, тюльпаны...»

У дороги на холме стоял «новый» — для Страбона — храм Дианы. «Как она прекрасна! — восклицает древний писатель — как будто она сошла с Олимпа, чтобы жить с нами». Женщины и девушки с корзинами цветов шли к храму и пели хором «парфенею» в честь богини:

«Я несу тебе с молитвой
Тот венок из златоцветов,
Вместе с кипером прелестным»...

Сотни курганов обступили полукругом оба города. Многие из них были, к сожалению, опустошены венецианцами, искавшими сокровищ.

СКИФЫ

Древние писатели о скифах

Множество древних писателей касалось в своих сочинениях Северного Черноморья, как далекой окраины, хотя Причерноморские скифские (русские) степи были главными поставщиками хлеба, всяческого сырья и рабов на греческие рынки. Демосфен говорил, что Афины получали из Боспора половину необходимого им хлеба, около 1 миллиона пудов в год, от скифских и меотийских царьков.

История скифского племени начинается на Иранском плоскогорье, в Средней Азии — этой общей матери многих народов. «Велика — говорит акад. М. Ростовцев — роль халдейской, ассиро-вавилонской, культуры на грядущие народы с их монументальной архитектурой, их вооружением, одеждой, скульптурной керамикой крылатых зверей, их верованиями»...

Майкопский курган, открытый Веселовским, с лучшими в античном мире ювелирными золотыми изделиями «звериного стиля», связывает, вместе с прикубанскими степями, юг России с историей народов Востока в доисторический период (Ростовцев).

Страбон описывает вазы, воспетые Пиндаром, светло-желтого цвета, любимого в Вавилонии, украшенные розетками и фантастическими фигурами животных. «Этот «звериный стиль» — пишет Б. Фармаковский — бывший на русских равнинах за 2000 лет до Р. Х. — пережил эпоху переселения народов и живет еще и поныне в России в художественных изделиях народа»...

Курганы VI в. до Р. Х., с великолепными вещами, относятся к Ассиро-Вавилонскому времени, и только в последующие века они греческого производства.

Первоначально скифы чтили державную владычицу неба и земли Тавити, высшего бога Папая, и только впоследствии стали поклоняться всему Олимпу греческих богов.

Точное время, когда скифы пришли на юг России, не установлено наукой. Геродот говорит, что слышал из уст скифа, будучи в Ольвии, в устьях Буга и Днепра, в V в. до Р. Х., что: «Прошло по крайней мере 1000 лет между их приходом в страну и походом Дария в Скифию» (VI в. до Р. Х.). Любители свободы, скифы и греки одни не подчинялись персидским великим завоевателям и Дарий был изгнан из скифских степей Причерноморья.

*

Скифы занимали огромное пространство от Дона до Дуная. Геродот подчеркивает этническое единство всего скифского народа, между отдельными племенами их нет границ, хотя они были весьма различны по образу жизни и нравам.

Были скифы оседлые земледельцы, были скифы, которых Гомер называет «дивными доителями кобылиц, млекоедами, бедными и справедливейшими людьми», были скифы и кровожадные, употреблявшие после битвы черепа врагов для вина, отделав их серебром, и после смерти своего воина убивавшие его жену, слуг, лошадей, — все это найдено в скифских курганах. И все же Ростовцев пишет: «Их благочестие и великая мораль были мотивами многих писателей древности. И для Горация, и для географа Мелы личность скифов представляла собой идеал».

Страбон пишет: «Южные степи весьма благоприятны для облагораживания отдельных государств. Скифы, ведя мирную жизнь, за что их называют «богопочитателями», живут без торговли и приобретения денег, этой причины несправедливости».

Скифы были общительны с иностранцами, любознательны и любили путешествовать.

Вот скифский жрец Аполлона, Аварис. «Пришел к Пифагору с луком и колчаном, висящим на плече, в хламиде, с золотым поясом, в длинных штанах» (Наследие Иранского плоскогорья. Л. В.) — описывает его софист Имерий, — «а чуть пошевелит языком по эллински, его слова казались исходящими из Аркадии»...

Вот скиф Тоскарис — «простой человек — восьминогий, т. е. имевший только пару быков и телегу»... Он велел поливать во время эпидемии холеры улицы в Афинах вином и пить воду только с вином и спас Афины от дальнейшего распространения эпидемии. В это время он был уже ученым медиком. Токсарис пользовался всеобщим уважением и после его смерти афиняне приносили жертву в честь «доктора — иностранца» и его могила все еще украшается цветами и венками» — как говорит древний Лукиан.

Первые сведения о скифах мы имеем от древнего писателя Аристея Проконезского, лично наблюдавшего скифов в IX в. до Р. Х., кочующих в Средней Азии. Его поэма о скифах погибла, и мы о ней знаем только от Геродота.

А между тем поэма Аристея Проконезского еще существовала во 2-м веке по Р. Х., в сочинениях А. Геллия.

Авл Геллий в своих «Аттических ночах» пишет: «Мы прогуливались в Брундизской гавани (Бриндизи) по дороге из Аттики в Италию и увидели выставленные связки продажных книг. Я тотчас же с жадностью бро-

сился к книгам. Все это были греческие книги: Аристей Проконезский, Исмон Никейский и пр. Самые связки покрыты давнишней плесенью и имели безобразный вид. Удивленный необыкновенной дешевизной, я купил множество книг за небольшую цену и бегло прочел в две ближайшие ночи. Скифы стягивали живот повязками против голода», пишет Авл Геллий.

В 900 году до Р. Х. после Гомера скифское имя вошло в общее употребление, как собирательное.

Св. муч. Киприан пишет: «Я вынес из Скифии понятие перелета птиц, вещая голос могучих людей, предвидевших будущее, и трепещущие переливы людских песен»...

Песня и музыка разносились в скифских степях: Фукидит говорит, что музыкальные инструменты греков явились из Скифии. «Кифара и пятиструнник изобретены скифами и связывались сыромятными ремнями и козьими копытами. Флейты и свирели делали из камыша и полых костей орлов и коршунов».

Особую любовь скифы питали — так же, как русские крестьяне — к бане. Таких бань нигде нет ни в Европе, ни у западных славян.

Геродот забавно описывает скифскую баню, старорусскую баню. «Скифы, — пишет он, — берут семена конопли, обливают их водой, кладут под покрышку, покрытую горячими камнями, которые дают сильный душистый пар, — у греков таких паровых бань нет! Скифы садятся под ними и в восторге от пара начинают ржать, и кричать — это их бани! Женщины, вымывшись, натирают тело, а также лицо, мазью из растертых твердым камнем кипарисовых, кедровых и др. смолистых веществ, отчего они выходят белоснежные, душистые» (Геродот). Другой древний писатель Аполлонид пишет, что «чарующие взглядами женщины с серо-

синими глазами живут в Скифии, их называют битиями».

Скифы кочевали летом в кибитках, а зимой некоторые из них жили в землянках. Помпоний Мела пишет: «Скифы проводят свои безмятежные зимние досуги глубоко под землей, прикатывают к очагам дубы и целые вязы для топки. Здесь проводят они ночи в играх и весело заменяют в чашах вино кумысом и кислым соком рябины».

Сбитые сливки кобыльего молока скифы называют «вутиром», а масло, сбитое в сыр, «иппакой». Но не один сок рябины пили скифы, — их пристрастие к вину и пьянство были хорошо известны писателям древности. В Афинах даже была поговорка: «Налей под скифь» — т. е. не разбавляй вина водой.

Анахреон, знаменитый лирический поэт Эллады VI века до Р. Х., писал: «Ну, друзья, не будем больше с таким шумом и ораньем подражать попойке скифской за вином . . . А будем тихо пить под звуки славных гимнов». . .

На знаменитой Куль-Обской вазе, найденной в кургане около Керчи (Пантикапея) мы видим двух подвыпивших друзей скифов, сидящих, обнявшись, и пьющих из одного большого, вероятно серебряного рога вино.

На этой же вазе чудесно обрисован облик скифа, удивительно похожий на русского крестьянина средней полосы России, как раз той, которая соприкасалась с древней Скифией. Вот скиф треножащий лошадь, вот — перевязывающий рану на ноге товарища, вот — зубодер, руку которого в страхе хватает пациент, — везде мы видим добродушные, даже кроткие лица, обрамленные прямыми, длинными русскими волосами и бородой, с особенным созерцательным рассеянным русским выражением глаз. И нет у них воинственной стреми-

тельности их братьев сармат и облик их — тихих хлебопашцев. И одеты они, как русские крестьяне, в длинную свободную вышитую рубашку, подпоясанную ремешком, с армяком на плечах, иногда с башлыком (привезенным из Персии), в холщевых штанах, заправленных в портянки и в постолах-лаптях. Сеяли они пшеницу, ячмень, чечевицу, просо, лук и пеньку.

*

Эта пасторальная жизнь скифов продолжалась до того времени, пока предприимчивые греки не начали создавать свои колонии — города на берегах Черного моря, у скифских степей. Вокруг греческих городов Ольвии, Феодосии, Пантикапея — образовалось скифско-греческое население, приобщенное к греческой образованности. Скифский царь Скилур построил свой дворец около Ольвии, окружив его мраморными колоннами и статуями сфинксов и грифонов и стал поклоняться всему Олимпу греческих богов, за что и был убит своими соплеменниками.

Скифия ревниво сохраняла свое национальное лицо и Геродот отмечает: «Скифы избегают употребление иностранных обычаев, особенно греческих»... В одежде скифов по-прежнему ничего греческого, также в убранстве их лошадей — тяжелого и блестящего. У женщин по-прежнему платья скреплены тесьмами и пуговицами, нижняя длинная рубашка с широкими рукавами, как у русских крестьянок, собраны у шеи и у кистей рук. Поверх шугай с длинными рукавами, на голове кичка с подвесками, прекрасной работы.

Потребность в хлебе, которую не могла утолить бедная почва Эллады, заставляла греков искать его в скифских черноземных землях. В VII и VI вв. до Р. Х. эллины заняли устья рек, впадающих в Черное море,

и вскоре оно было окружено греческими городами, как ожерельем.

А там, из глубины России, с черноземных полей Днепра, Буга, Дона, Кубани скифы доставляли грекам хлеб, рабов, мед, кожи, соленую рыбу и прочие продукты. От взаимной торговли греки богатели, богатели также и скифы.

«У скифов — все в изобилии, — начали отмечать греческие писатели, — они много употребляют золота, повсюду нашивая золотые бляшки. Скифы ездят и торгуют с Геллеспонтом туда и сюда, продавая свои товары»...

«Лучший сорт яшмы лазурной — скифский» — пишет Плиний. «В Рифейских горах (на Урале) песок блестящий и белый (платина? Л. В.), а смарагд (изумруд) такой зеленый, что окружающий воздух тоже кажется зеленым»...

В Керчи (быв. Пантикапее) археолот Дюбуа де Монперре в 1834 году пишет: «Гробница Куль-Обская была полна таким огромным количеством золота, что оно в употреблении у жителей даже в настоящее время. Нет ни одной женщины, которая не носила бы на себе какого нибудь золотого украшения, найденного при раскопках кургана».

Счастливая, свободная, богатая Скифия возбуждала зависть соседей: на Западе фракийцы нападали на Скифию, на Востоке — Сарматы, шедшие из-за Аральского моря, по выражению Ростовцева «грозною лавиной», на юге греки могущественного уже Боспорского царства с его богатой республикой Херсонес — все напирали на «неповинных» — по выражению Тита Ливия, — скифов.

Сарматы, сородичи скифов, говорившие на схожем языке, были иные по характеру, обычаям и культуре. Сарматы слились со скифами, образовав сармато-скифские государства, и только в степях Тавриды продолжа-

ло существовать сильное, еще независимое скифское государство, ведшее героическую борьбу с могущественным Боспорским царем Митридатом. Скифы обеднели, и эта больная и неспокойная политическая обстановка рождала нездоровых, морально опустошенных людей.

Характерен в этом отношении рассказ Виона Борисфенита*), жителя гор. Ольвии.

«Отец мой был отпущеник, вытиравший себе нос локтем, имевший не лицо, а клеймо на лице, знак жестокости его господина, а мать была такая, какую мог взять за себя такой человек — из публичного дома...

Потом отец за какой-то проступок при сборе податей был продан со всем домом и с нами. Меня, как недурного собой мальчика, покупает один ритор. Перед смертью он оставил мне все свое имущество и я, предавши огню и разорвавши все его сочинения, приехал в Афины и занялся философией... Вот порода и кровь, какими тебе хвалюсь, вот моя биография»... (цитирует «Иллиаду»)... И действительно, Вион был человек изворотливый, ловкий софист, иногда надменен и любил величие. Впоследствии пристал к учению атеиста Феодора, по словам Диона Лаэртского...

Скифия разлагалась, слабела. Пришел IV в. по Р. Х. и весь восток задрожал от внезапной вести: из азиатских степей вырвался рой гуннов, который, летая туда-сюда, перебил и рассеял большинство скифов, превратив их землю в пустыню. Своей легкой кавалерии гунны обязаны, главным образом, свои победы над тяжело вооруженной западноевропейской конницей.

Явились невиданные лица, послышались неслыханные прежде языки, — то погибал античный мир, давший столько прекрасного человечеству.

---

*) Борисфениты — жители окрестностей Днепра — Борисфена.

Часть скифов нашли убежище в Византии, и они были, большею частью, обращены в рабство.

«Всякий мало-мальски зажиточный дом» — пишет современник этих событий — «имеет скифского раба: и стольника, и пекаря, и водоноса. У каждого скиф, — это племя признано достойным и способным служить римлянам»... (Византия — Восточно-Римская империя).

Свободолюбивые скифы отчаянно сопротивлялись порабощению, и Аполлинарий Сидоний V века нашей эры описывает мирской сход тогдашних скифов.

Но как изменился облик скифа, как не похож он на своих предков, которые украшали золотом даже свои рощи».

Тепер: «Стояли старцы — старшины, но свежие умом. Грязная полотняная рубашка лоснится на худощавых спинах, плащ из шкуры не достигает коленей!»

В V веке Скифия отошла в загробный мир истории.

Сарматы, пришедшие через Урал в IV в. до Р. Х., не смели скифов и не прервали культурную роль юга России, а слились со скифами, внося свою новую культуру. Скифы перестали существовать только в V веке, рассеянные гуннами, так же, как и сарматы. И еще в V веке, мечтая о бывшей своей славе, они собирались на вече и, по выражению Прокопия, «обедневшие, покрытые шкурами, не закрывавшими даже их голые колени, они мудро обсуждали свое бедственное положение», особенно под византийской властью.

Сарматы внесли, по выражению М. Ростовцева, «еще не виданное нигде свое новое искусство — искусство полихронных геометрических форм, инкрустацию камней и стекла». То, что было скоро воспринято и воспроизведено в церквах в начале Средних веков: разноцветные стекла витражей, геометрические розетки, украшение королей и знати многоцветными камня-

ми и пр. Мы видим сармат на триумфальной колонне в Риме и на знаменитом мраморном барельефе «царского наместника» Трифона сармата, скачущего на коне с копьем наперевес, как донские казаки, без щита, но в кольчуге, с остроконечным шишаком на голове, как наши сказочные богатыри (скифы так не одевались). И причем тут Блок с его азиатами-скифами с «косыми глазами»? !

Тиргатао — меотийская царица

(Южнорусские степи в древности)

Жизнь Тиргатао, савроматской царицы, протекала в половине IV в. до Р. Х. на берегу Меотийско-Азовского моря и на Таманском полуострове.

Ее трогательная история описана, к сожалению, всего на нескольких страницах, греческим писателем Полиэном, жившим через столетие после ее смерти. И, конечно, каждое слово этих драгоценных строк вошло в текст предлагаемого жизнеописания Тиргатао.

Она жила в эпоху могущественного Боспорского царства, в эпоху греческой образованности. Жизнь, окружавшая меотийскую царицу, была богата столкновениями интересов этнически различных государств и борьбой их различных культур. Это была борьба степных племен с греческими колониями Причерноморья и могучим Боспорским царством.

Боспорское царство лежало на Таврическом берегу (столица Пантикапей) и на Таманском полуострове (столица Фанагория, вблизи нынешней Тамани).

«Вот простерлась огромная Фанагория и поднимают свои стены Германоссы» (соседний город) — пишет Руфий Авиен (IV в. до Р. Х.)

Как все древние города, Фанагория была окружена стеной, следы которой, а также молы, очень хорошо

видел Дюбуа де Монтпере. ... Древний писатель Гекатей говорил, что путешественник, подъезжая с материка по реке Гипанис (Кубань) к Фанагории, видит прежде всего храм Венеры Анатурийской и ее спутника Сенерга. Этот храм, знаменитый в древности, стоял в роще, где жили жрецы и их рабы. Там же находились сенат и театр. Вокруг масса мраморных львов — пасть открыта и головы повернуты налево. Многие были увезены венецианцами, два льва украшают вход в Феодосийский музей. Лев фигурировал в фанагорийском гербе — влияние мидийской культуры. Недавние раскопки Фанагории показали, что центральная часть города находилась на нижнем плато, и ее ионическая колоннада примыкала к морю. Подъём на окрестные холмы хорошо выложен камнем на глине. Наверху открыто много фундаментов общественных зданий: мавзолея, гимназии, — и жертвенники. У края города обширный некрополь.

В Фанагории жили греки, синды — их соседи, — и меоты; многие женские статуэтки — типичные меотки — степные жительницы: широколицые, с маленьким носом, выдающимися скулами, крупным подбородком и большими глазами. Такими мы их видим на расписных вазах.

В IV веке, при Тиргатао, Фанагория была совершенно эллинизирована и в расцвете своих материальных и духовных сил.

В одном из курганов окружающих Фанагорию, Тизенгаузен нашел в 1863 году три вазы, воспроизводящие Афродиту, Сирену и Сфинкса. Они хранятся в Эрмитаже. Художник изобразил Афродиту с золотистыми волосами (позолота кое-где еще сохранилась), с мягким девичьим лицом, выступающей из волн морских. И Сирену ... когда она поет, все в природе умолкает, —

ветер, волны и древний человек умирает с улыбкой. Сирены, то скорбящие и поющие о вечном горе утраченной жизни, то радостные, переносящие души умерших в страну потустороннего блаженства! Сирены украшали могилу Софокла, они же зазывали Одиссея:

К нам, Одиссей богоравный, великая слава Ахеян,
К нам с кораблем подойди, сладкопеньем сирен
насладиться,—
Знаем мы все, что на лоне земли многодарной творится...

Третий сосуд — статуэтка изображает Сфинкса, эмблему загадки жизни.

«Он прекрасен этот Фанагорийский Сфинкс! В нем легкость движения, гордое величие и жуткий потусторонний взгляд: дух старого искусства Фидия живет в суровом лице Сфинкса, сторожащего покой умершего, познавшего красоту смерти, через которую умерший приближается к божеству», — пишет Б. Фармаковский.

Соседями Фанагории были синды, вассалы Боспорского царства. При Геродоте они занимали большую часть Таманского полуострова. Судя по языку и культу Мидийских богов, они пришли с Востока, общей родины наций, мудрости и искусства. Латышев предполагает, что они были савроматы-меоты, отделившиеся от последних при присоединении их к Боспорскому царству, от которого они целиком переняли греческую культуру.

В Синдике уживались различные племена: греки, меоты, киммерийцы и их религии: мидийская, эллинская, савроматская, что служит доказательством удивительной веротерпимости древнего мира!

«Синды варвары» (т. е. не эллины) «но нравы их кротки», говорит безымянный автор Перипла Понта Евксинского. Берега Кубани, протекавшей по Синдской земле, густо заселенные свободными землепашцами и скотоводами, были в цветущем состоянии. Столица

«Синдика», с ее гаванью, находилась рядом с теперешней Анапой — Горгиппией в древности, — и лежала «на воде». По городу протекал один из рукавов Кубани, а сбоку столица омывалась зеркальными водами Киммерийского лимана. Это волшебная местность: ни земля, ни вода, а что-то промежуточное, где озера, земля и море — все тонет в опаловом тумане.

В Синдике, как и во всех древних городах, был акрополь. Стены окружали город и царский дворец, стоявший у самого моря, по словам Страбона. Развалины древних зданий, колонн, мраморных плит покрывали на несколько верст вокруг землю перед глазами Дюбуа в 1834 г.

Синды управлялись полугреческими, полусиндскими «династами», — царьками, вассалами Боспора, и Народным собранием. И тут, как и во всех греческих припонтийских колониях, народ предпочитал свое правление и часто свергал, по выражению Геродота, своих «династов». Во дни Народного собрания, которое, по словам Ксенофонта, «распоряжается своей магистратурой, как я моими рабами», — трубили трубы, и жители бежали на площадь — агору. Ораторы, следуя греческому обычаю, с венками на голове — эмблемой их неприкосновенности — выходят один за другим на трибуну . . . Голосуют простым поднятием рук, или в храмах, кладя в урны глиняные плиточки, или белые, или черные шарики, или бобы.

На монетах и медалях того времени, прекрасной, как свидетельствует Ростовцев, работы, изображены Синдские «династы», стройные, стремительно скачущие на конях в хитонах, с мечами за поясом, и со скифскими колчанами. Среди них может быть фигурировал и Гекатей с меотийско-синдской царицей Тиргатао, неразделеной со своей лошадью, испытанной наездницей, как все женщины яксаматского племени меотийских

степей. Одетая в тунику, охваченная широким поясом, обутая в высокие сапожки с золотыми пуговками, с фригийским колпачком на голове, — «Тигратао, принцесса Меотийская», начинает свой рассказ Полиэн, «вышла замуж за Гекатея, царя синдов, которые живут немного ниже Боспора. Этот Гекатей, потеряв свои владения, был принят Сатирусом, тираном Боспора».

Царь и царица синдские бежали в Фанагорию, где жил Сатирус, почитавшийся мудрым правителем. Они ехали вдоль лимана, оставляя позади свою столицу и черные, как грозовые тучи, отроги кавказских гор.

Вечерний туман обволакивал Фанагорию и на ее некрополе зажглись огоньки, расположенные за масками на могилах фанагорийцев. «Арсений, помни обо мне, родная душа» говорила одна эпитафия, а на другой значилось: «наткнулся на страшное варварское копье . . .». И все в таком роде.

Гекатей бежал к Сатирусу в надежде получить обратно свой трон. Тиран азиатского Боспора Сатирус жил на греческий лад, и встретил, как то полагалось, синдских царя и царицу в священной роще у входа в сенат, украшенный статуями крилатых женщин-львиц, известных всем археологам. Ряд празднеств, представление в театре афинскими актерами, и торжественная трапеза ждали «династов». На ней подавались блюда, приготовленные из рыб реки Танаиса, дичь с берегов Кубани, вино из Тавриды. Пение невидимого хора неслось из внутренних покоев дворца . . . Девицы, с лирой в руках, юноши с флейтами вторили хору, певшему гимны Диане и Аполлону. Жены приглашенных возлежали с цветами и жемчугами в волосах. Среди них была дочь Сатируса в золоченой тунике и сандалиях, таких, какие носили принцессы того времени.

Полиэн пишет: «Сатирус заставил Гекатея жениться на своей дочери и требовал смерти Тиргатао, а Гека-

тей, хотя и добивался своего трона, любил свою меотийку и не хотел ее гибели... Опасаясь за ее жизнь, он заключил ее в крепость, дал ей надежную стражу и запретил выходить наружу».

Под стенами крепости, журчал все тот же древний фонтан и огромные башни сгущали темноту. В амбразуре крепостной стены Тиргатао могла видеть звездное небо над темным морем, и золотую дорожку, струившуюся от Фанагории до Пантикапея, только что подчинившего своей власти ее родину. Власть Боспора была еще слаба и границы часто менялись.

И Тиргатао стремилась к своему отцу, царю Меотов, в Танаисские степи, домой, Она видела, как наживался Пантикапей, вывозя добро ее родины, видела высокомерие греков, видела, что все лучшие места были захвачены предприимчивыми эллинами. А, главное, она была оскорблена Гекатеем, бросившим ее из-за гречанки. И Тиргатао решила бежать, чтобы в мщении утопить свое горе.

Озера и леса, примыкавшие к восточной стене крепости, помогли ей так же, как двести лет спустя помогли и дочери великого Митридата, избравшей тот же путь. Полиэн описывает ее бегство так:

«Обманув бдительность стражи, через пустынные степи и пропасти, минуя города и селения, бежала она по ночам, а днем скрывалась в лесах... Сатирус и Гекатей послали за ней погоню, боясь, что она поднимет против них всю Меотию...»

Чем дальше продвигалась Тиргатао на север, тем реже попадались селения, тем пустынней становилась степь. И не было в них тэй липкой сырости и туманов, которые приводили в уныние древних мореплавателей!

Наконец добралась она до своего родного яксаматского племени у устья Танаиса-Дона, чтобы узнать о кончине отца, не дождавшегося ее возвращения. Без нее

хоронили и обряжали его старенькое тело! Обмазывали воском, наполняли очищенный желудок благовонными травами и, облачив в кунью мантию, возили для последнего прощания по всем меотийским поселениям. И насыпали над его могилой, в Танаизсской степи, высокий курган, как того требовала знатность его рода и его воинская доблесть.

Вот среди садов и виноградников заблестели воды родного Танаиса и показались, в предместьи города Танаиса, бесчисленные, крытые камышем, мазанки рыбаков. Тиргатао дома: во дворце из обтесанных камней, с башнями по углам и спускающимся к реке садом. Перед мостом стоит стража в остроконечных шишаках и латах из толстой, зеленого цвета, кожи. Вот ее детская, со столиками, где она играла с глиняными и костяными куклами и скарабеями из египетской пасты. Здесь, по вечерам, когда в открытые окна и двери вливался бархатный воздух степи, такой густой, что казалось он был осязаем, она слушала рассказы няни о своей прабабушке, прекрасной царице амазонок и об ее дворце на берегу моря: и сказку-быль о том, как скифы, что жили по другую сторону реки Танаиса (Дон), приняли амазонок ласково, как скифская молодежь разбила лагери поблизости и как скифы поженились на амазонках, откуда и произошло савроматское племя. Разсказывала няня и о том, что слышал Геродот:

«И говорят скифы своим амазонкам: вы наши жены и не хотим мы с вами разлучаться; но у нас есть матери и отцы, есть имущества, — пойдите жить в наши места. Амазонки им отвечали: благородные господа, мы не можем жить среди скифских женщин, у нас другие привычки и обычаи, наше ремесло военное, мы не расстаемся с лошадьми, луком и копьем, и не знаем ремесел скифских женщин, сидящих у очага, или в кибитках.

Если вы хотите остаться нам верными, забирайте свое добро и следуйте за нами!»

Молодые скифы так и сделали: побросали свои места и ушли с амазонками на другой берег Танаиса.

«Савроматские женщины держатся старых обычаев, говорят, хотя и по-скифски, но на древне-амазонский лад. Но мужья их этому говору научится не могли» — пишет Геродот. А когда Тиргатао выросла, отец подарил ей затканный самоцветными камнями пояс — эмблему власти, — такой, какой всегда носили савроматские принцессы, — и они поехали на охоту, и на войну. Удары священных медных кифар, флейты и рога уже рассылали свои голоса в эфир . . .

«Ты видишь здесь питательный снег, полное презрение к жизни. Мы едем на конях, где шумят вздутые волнами реки; жилища наши легкие, человеческие . . . Я свободно ношусь по степям, пища наша всяческий скот и дичь . . . Я никогда не покину этих зим, равнин и скал», поется в древней песенке.

«Тиргатао, — пишет Полиэн, — вышла замуж за того, кто принял власть после ее отца и подняла против Боспора сперва свое яксаматское племя, а затем и другие воинственные меотские племена. Меотийские полчища двинулись на Таманский полуостров, владение Сатируса и Гекатея, поджигая города и селения, предавая все опустошению. Испуганные Сатирус и Гекатей запросили мира, послал к Тиргатао заложником сына Сатируса Метродора и мирные переговоры начались. Обе стороны поклялись жить в вечном мире. Но это было хитростью Сатируса и его дочери, ненавидивших Тигратао.

«И вот скачут от них, к Меотийской царице, как будто беглецы от Боспорского тирана, два хитроумных грека, якобы ищущих защиты и убежища у Тиргатао. Сатирус прикидывается их врагом, требует их выдачи,

но царица, свято храня свое слово о защите, отказывает ему в этом.

«Однажды Тиргатао гуляла в своем саду. Пользуясь ее довериям, оба грека приблизились к ней. В то время, как один начинает разговор о важном деле, другой вынимает меч и ударяет им Тиргатао. К счастью удар пришелся по шитому поясу, затканному драгоценными камнями, что и спасло царицу.

«На крик Тиргатао сбежалась стража, греков схватили и учинили им допрос. Они выдали Сатируса, подстрекнувшего их на убийство и сын его Метродор был убит.

«Меотийские войска вновь вторглись в пределы Боспора.

«Узнав о смерти сына, Сатирус умер от горя, а Горгиппий, второй его сын и наследник поспешил попросить у меотийской царицы мира, отправив к ней послов с богатыми дарами.

«Умилостивилось сердце Тиргатао и погас в нем огонь мщения. Она милостиво приняла послов Горгиппия и мир был заключен».

Тиргатао была предвестницей сарматской славы и могущества.

Вскоре после смерти ее, пришедшие из-за Урала Сарматы подняли меч, выпавший из ее рук, и борьба между Боспором и, теперь сарматской, Меотией возобновилась*). Она продолжалась до тех пор, пока на Боспорской престол не взошел Савромат I (I век по Р. Х.). История не сохранила ни имени дочери Сатируса, ни

*) Вопрос о тождественности Савроматов и Сарматов очень сложен. Некоторые историки считают их разными племенами (Ростовцев), другие идентичными.

дальнейших следов жизни Гекатея. Диодор Сицилийский мимоходом упоминает о том, что после кончины Сатируса, его наследник Горгиппий занял место Гекатея и был правителем Синдов.

Горгиппий похоронил Сатируса на высоком мысе Боспорского (Керченского) пролива, около города Ахиллеума и воздвиг на могиле отца памятник известный многим писателям древности. Недалеко от гробницы Сатируса стоял храм Ахилла, и около него был фонтан. Отсюда виден противоположный берег и городок Мирмикион на Таврической стороне, где, по преданию, родился великий герой древности Ахилл. Быстро восстанавливал Горгиппий военные разрушения и основал новый город Горгиппию с храмом Афродиты и Посейдона. Это нынешняя Анапа.

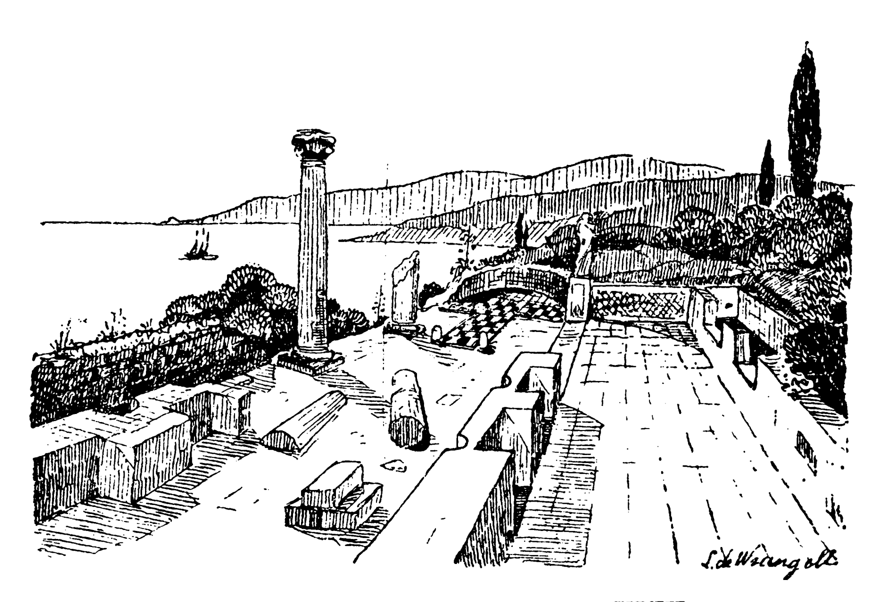
Вблизи нового города Горгиппий построил, для себя и для своей дочери Комосарии, загородный дворец в лесу, у озера, а на близлежащем холме Комосария воздвигла памятник «могущественнейшим богам Сенергу и Астарте при архоте Боспора и Феодосии Перисаде, царе синдов, всех меотов и фатеев».

Эта чрезвычайно важная, в историческом отношении, надпись свидетельствует также о влиянии восточных верований на Таманском полуострове. Они хранятся в Керченском музее древностей.

Протекло две тысячи лет.

Волны озера, мало по малу, подмывали холм. Берега обрушились и памятник Комосарии, и другой, Диане, упали в воду. В начале прошлого века в 1805 году русские черноморские казаки — наследники Боспорского царства на Таманском полуострове, нашли в песке озера камни храма Дианы и пьедестал памятника Комосарии. Из античных этих камней они построили церковь в Ахтанизаровском курене. Чудесное прошлое и обая-

тельные тени давно ушедших героев древности оказали огромное влияние на моральный и физический облик русского народа, влияние, в котором русские историки стараются разобраться.



Развалины Херсонеса в Крыму в XVIII в.

ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ

(К 140-летию его открытия)

В 1823 году лейтенант, будущий адмирал, Врангель указал остров, впоследствии ставший носить его имя.

Понадобилось еще 90 лет, чтобы русские мореплаватели водрузили на нем свой национальный флаг. Искали остров долго, но особенно мощные ледяные горы не допускали к острову, пока построеный ледокольный корабль «Вайгач» в 1911 году смог высадить на нем русских людей.

Азиатское побережье Ледовитого океана от Белого моря до Тихого океана не было известно до XVI века, когда Ермак, в 1584 году, а за ним и казаки и промышленники на своих суденышках «щитиках» и «гвозденышках» не присоединили от Урала до Тихого океана менее, чем за столетие всю Сибирь к владениям России.

Движение в Сибирь шло широким фронтом, и по Ледовитому океану и по суше, в поисках «незнаемых землиц» и для «собственной пользы» за пушниной, китовым усом, мамонтовыми и моржовыми клыками и всем, чем так богата Сибирь.

В своем продвижении через Сибирь казаки и промышленники, зачастую, «громили» — тунгусов, якутов и др. инородцев, обкладывали их податями — «ясыками» и приводили в русское подданство.

Еще в 1639 году Иван Москвитин с тридцатью товарищами пошли на «море-океан» и достигли Тихого океана, дойдя до Охотского моря. А в 1648 году Тобольский воевода, Петр Годунов, родственник Бориса, «своим

тщанием» снарядил путешествие по побережью севера Азии и составил ее карту.

В царствование Петра Великого русское мореплавание получило новый колоссальный сдвиг.

Петр I превратил Россию в великую морскую державу и очень интересовался морскими торговими путями в Японию, Китай и Индию. Этого достичь он не успел и в 1725 году, незадолго до своей смерти, говорил командующему флотом адмиралу Апраксину:

«Худое здоровье заставило меня сидеть дома; я вспомнил на днях то, о чем мыслил давно и что другие дела, предприятия мешали, — т. е. о дороге через Ледовитое море в Китай и Индию. Оградя отечество безопасностью от неприятеля, надлежит находить славу моему государству через искусство и науки».

За три недели до своей смерти, Петр Великий собственноручно написал инструкцию предполагаемой и осуществленной экспедиции и сам выбрал руководителей: датчанина на русской службе — Витуса Беринга и питомца своей Морской академии — Алексея Чирикова, которого Ломоносов назвал «Главным», кто открыл Америку с Сибирской стороны. Великий Ломоносов в 1763 году на карте, начерченной от полярных областей к северу от Чукотского полуострова, указал «большой остров» «сомнительный», как он его назвал, очень близко от острова Врангеля.

В инструкции, данной Петром Берингу приказано:

«Надлежит на Камчатке сделать один или два бота с палубами. На оных ботах возле земли, которая идет на норд и по чаянию кажется, что та земля — часть Америки, и до того искать, где оная сошлась с Америкой и т. д.».

Эта экспедиция длилась 20 лет, в ней участвовало несколько тысяч человек, и с первого же плавания, от 1724 до 1728 г., Беринг покрыл себя вечной славой,

отправившись от реки Камчатки, прошел проливом, отделяющим Азию от Америки, и увековечил свое имя: Берингов Пролив. Карта Беринговской экспедиции была опубликована в Париже в 1735 г.

Беринг умер от цынги на одном из Алеутских островов, носящем его имя.

Сотрудник Беринга — Чириков, будущий профессор Военно-морской академии, достойнейший, скромный ученый, умер от туберкулеза в Москве в 1748 г. Беринг и Чириков достигли Аляски и Алеутских островов в 1732 г., не зная, что открыли «Новый Свет» на Тихом океане и начали их колонизировать вплоть до Калифорнии, когда Соединенных Штатов еще не существовало.

*

Среди участников Беринговской экспедиции выделился Дежнев, именем которого назван конечный мыс Камчатки в Беринговом проливе.

Дежнев, казак древнего Великого Устюга, в 1648 г. обогнул и описал Чукотский полуостров, а затем и Камчатку. Карта его путешествия была напечатана Российской Академией наук в 1758 г.

Семен Дежнев еще во время царствования царя Михаила Федоровича «сообщил царю подарок» — «явил тебе, Государю, 5 сороков десять соболей».

Якутский купец Лебедев, Ласточкин и особенно сибирский промышленник Шелихов в 1783 г. «учинил заселение Алеутских островов и сев. Америки, где торговали пушниной. Шелихов, «Русский Колумб», как его называл Державин, был человеком государственного ума и мечтал об «упрочнении за Россией новых земель в Тихом океане». Шелихов много плавал из Охотска на Алеутские острова и в заливы Аляски, где променивал свои вещи и бисер на «рухлядь» дикарей. Весь народец, по

местному «колюжей», в 30.000 человек, Шелихов привел в подданство России и, живя среди них, основал училище «для тамошних отроков». Сам учил их российской грамоте, математике, даже музыке. Но англичане — «Бостонцы», как их называли в Аляске, подняли тревогу, видя захват русскими Аляски и, подстрекаемая ими, некоторая часть «колюжей» — индейцев, начала грабить русских.

А между тем, когда борьба за независимость началась среди американцев, последние имели все симпатии России, и Радищев написал свою оду «Вольность».

Позже, в 1779 г., Шелихов слышал от жителей Аляски, что на реке Хавренге (Юкон) живут российские люди — русоволосые, белолицые, читающие книги, пишущие; поклоняются иконам, и Шелихов думает, что то были потомки штурманов и матросов, которые в 1741 году были посланы сюда на шлюпке Чириковым и не вернулись обратно.

Изучение побережья Ледовитого океана все продолжалось и братья Лаптевы (море бр. Лаптевых) и Челюскин (мыс его имени на побережье Ледовитого океана) способствовали его изучению. После Петра Великого, Александр I обратил свое внимание на Тихий океан и послал экспедицию под начальством барона Фердинанда Петровича Врангеля для обследования берега Ледовитого океана от устья реки Колымы до северного мыса и всех островов, долженствующих быть в этой части океана.

Помощниками Ф. П. Врангеля были морские офицеры — Матюшкин, Козьмин и доктор Кибер.

Впоследствии Гумбольдт, знаменитый путешественник южных стран, писал: «Я воспользовался многими сведениями замечательного путешествия адмирала Врангеля»...

Ф. П. Врангель выехал из Петербурга 23 марта 1820 г. на почтовых лошадях. «Я торопился доехать поскорее из Москвы в Иркутск, расстояние в 5630 верст. В дороге сколько раз переживал, то снежную зиму, то зеленую весну и из белокаменной роскошной Москвы попал в юрты кочующих тунгусов; из великолепных дубовых и липовых лесов Уфы в голые тундры и снежные поля р. Колымы».

В Западной Сибири Врангель был удивлен богатой растительностью. хорошими дорогами, прекрасными полями и нелицеприятным гостеприимством и добротой сибиряков. «Если мы бросали свои вещи в повозке на дороге без присмотра, хозяева дома, где мы останавливались, успокаивали нас: «Вам не надо ни о чем беспокоиться среди нас...»

В Иркутске Врангель представился главному губернатору Восточной Сибири, знаменитому государственному деятелю Сперанскому, уже не «в дни прекрасного начала», а в мрачные годы Аракчеевских времен. Гордость России, Сперанский, в это время был уже сослан в Иркутск в почетную ссылку.

Сперанский очень ласково встретил Врангеля, обещал помогать ему в его трудном путешествии, снабжал рекомендациями и инструкциями к начальникам ледовитых областей, предостерегал об опасностях его предприятия. Жизнь в суровых условиях Арктики требовала исключительного мужества и настойчивости, качеств, присущих Врангелю, человеку, верному своему долгу искательства, мягкого и заботливого по отношению к инородцам, особенно к воинственным, еще не покоренным, чукчам.

Ему предстояло прожить 4 зимы, которые длились по 10 месяцев, а море покрыто льдами даже летом.

Часть пути из Иркутска до Якутска Врангель ехал на большой ладье по прекрасной, огромной, тихой Ле-

не с ее великолепными лесами, полными лучших в Сибири соболей. Якуты между собой не общительны: их юрты отстоят далеко друг от друга, поэтому мало их деревень, но к русским они гостеприимны и привыкли к ним на Якутской ярмарке, где, во время Врангеля, продавалось: беличьих шкурок 615.000, куниц 20.000, песцов 20.000, горностаев 45.000, моржовых клыков 1.000 пудов, мамонтовых — 1.900 пудов и т. д.

На ярмарке — веселые празднества: танцуют дамы с кавалерами под скрипку и гусли, беседуют, луща кедровые орехи и пьют пунш и водку.

Якуты не селятся далее Верхоянского Хребта, а дорога из Якутска в Нижне-Колымск — постоянная резиденция экспедиций Врангеля, недалеко от впадения реки Колымы в Ледовитый океан, — очень тяжела. Врангель спал в снегу, завернувшись в меха, слушал рассказы проводников, то про чудесного Оленя, сшибавшего рогами огромные деревья, пролетая через тайгу, то о храбром казаке, убившем трех медведей . . .

Наконец, после девятидневной ночевки в снегу, пишет Врангель: «мы набрели на теплую, чисто прибраную юрту со скамьями и пылающим огнем в очаге. Хозяин — якут, назвавший себя есаулом по казацки, угостил нас мороженным мясом, маслом, рыбой и олеными мозгами. Вначале мне были отвратительны эти сырые продукты, а с годами я привык к ним и предпочитал их европейскому способу приготовления. В селении Тоболока я неожиданно встретил русского доктора Томашевского, прожившего 30 лет в Нижне-Колымске и теперь возвращавшегося в Россию.

В маленьком местечке Зашиверск старый священник, служивший здесь уже 60 лет, своей добродетельной жизнью и ласковым словом обратил в христианство 15.000 якутов, тунгусов и юкагиров, просветил и

смягчил их нравы. Каждый год верхом, с ружьем за плечами, он объезжал 2.000 верст своей паствы...

Он угостил нас щами из капусты своего огорода и особенным хлебом из муки сушеной рыбы и ячменя».

Кругом много озер с прекрасной рыбой реки Индигирки. На болотистой почве растут сибирские ягоды: морошка, голубица, брусника, малина и мхи-лишайники — пища северного оленя — самого ценного животного тундры. На них ездят, едят их мясо, пьют их молоко, шьют одежду, покрывают их шкурами юрты.

«2 ноября, при 32° мороза, мы приехали в Нижний-Колымск и перешли на саночный путь, запряженный собаками».

Н.-Колымск был основан в 1644 году казаком из Якутска Стадухиным, построившим здесь острог — маленькую крепость от набегов инородцев, церковь деревянную и несколько юрт. Стадухин сообщил местному начальству, что чукчи зимой в один день достигают Большой Земли на Ледовитом океане на оленях и привозят оттуда ценные моржовые клыки, «что против рек Яны и Колымы», прибавляли они. При Врангеле в Н.-Колымске было уже 42 дома. Ему отвели лучший в две большие комнаты, слабо освещенные кусками льда вместо стекол, со скамьями, столиками и стульями, большой печью, где он провел благополучно свою первую зиму, т. к. в Н.-Колымске не бывает ни эпидемий, ни скорбута — этого бича Сибири.

В первой комнате помещались его служащие, а во второй он сам.

Здесь солнце не заходит, светит, но не греет, нет сумерек; начинается зимняя ночь, скрашенная великолепными северными сияниями. Нет ни весны, ни осени — сразу зима на 10 месяцев и короткое лето, и жители предпочитают привычный холод зимы, когда нет москитов — гнусов, отравляющих жизнь людям и живот-

ным. Единственное спасение от них в огне, дыме, а для животных в воде рек.

Река Колыма здесь очень широкая; на юге — горы, на севере бесконечная тундра вплоть до Ледовитого океана, в 35 верстах отсюда.

«Наша главная цель — была забота — путешествие на север Ледовитого океана и открытие там неведомой земли.

Я собрал совет из Нижне-Колымских жителей и представителей окружных деревень, населенных русскими, якутами, юкагирами, и мы решили, что они за плату, которую мы тут же распределили, доставят нам для нашей экспедиции шкуры оленей для юрт, их замороженное мясо для корма собак, мороженную рыбу и собак, хорошо выдрессированных и крепких, и 54 нарты.

Все это было заготовлено в два месяца.

Но особенно ценны были их указания о дорогах, о ветрах и водах Ледовитого океана и о чукчах, воинственных хозяевах побережья океана.

«Я решил», — пишет Врангель, — «достичь как можно дальше на восток и выехал с Козьминым из Нижне-Колымска 19 февраля и с гидами, знавшими чукотский язык. Ехали по компасу на собаках. Я делал вид, что поеду только до мыса Баранова: дальше мои проводники не хотели ехать, боясь воинственных чукчей. Когда я достиг Баранова мыса, названного по диким баранам, населяющим этот мыс, проводники согласились ехать и дальше. Эта часть берега Ледовитого океана была совсем неизвестна. Бесконечный, ослепительный от солнца, снежный горизонт утомил зрение, нестрпимо болели глаза. Нам мерещились голубые горы, вдруг исчезающие — обычный мираж снежной пустыни».

Чтобы согреться, разбивали палатку из оленьих кож, и при тридцатиградусном морозе, когда кожа паль-

цев прилипала к инструментам, Врангель делал свои наблюдения при свете маленького фонаря. Большей частью ехали в сумерках полярной ночи.

Путь по Ледовитому океану, далеко от берега, ужасен. Огромные горы льда — торосы — заграждали путь. Карабкаясь и спускаясь с них по крутизне с опасностью переломать сани, задавить собак и повергнуться вместе с ними в ледяную пропасть! Приходилось временами впрягаться с собаками и вместе с ними вытаскивать сани.

Все освещалось слабыми лучами солнца, отсутствие чего-либо живущего, тишина смерти...

Здесь Врангель записывал в своем журнале. «Марта 6-го 1821 г. При недостатке припасов не было возможности продолжать путь. Мы вернулись в Н.-Колымск, обследовав 1197 верст изнурительного пути в 40 верст от Шелагского мыса...» Не зная что они находились вблизи «Обетованного острова».

Всего 10 дней ушло на подготовку второго путешествия в поисках «неведомой земли».

26 марта Врангель выехал с хорошо снаряженным обозом нарт, растягнувшимся почти на полверсты.

Миновав Баранов мыс, экспедиция вошла на морской лед, направляясь на север. Вскоре, оставив Матюшкина с обозом, Врангель взял с собою две нарты, несколько досок, лодку с веслами и пустился в одиночку на север, чтобы осмотреть лед впереди. Повсюду широкие трещины во льду; он спустил в них доски, чтобы перебраться через них; окруженный водами океана, Врангель вернулся обратно к своим спутникам и направился на Медвежий остров, который описал.

«Только что мы расположились отдохнуть на снегу, как из ледяной глыбы выскочил на нас огромный белый медведь, но чуткий собачий оглушительный лай, заставил его ретироваться. Мы схватили ружья и побе-

жали за медведем. Раненный, и потому отчаянно-свирепый, медведь обернулся, собрал свои последние силы и бросился на ближайшего казака, но он, ничуть не смутившись, дал медведю приблизиться на 5 шагов от себя, выстрелил ему в грудь и проткнул его мертвого пикой. Теперь медвежьим мясом была обеспечена и наша экспедиция и собаки. Подойдя к первому «медвежьему» острову, мы впервые услышали щебетание птиц, предвестников весны. Нельзя описать нашу радость.

На Медвежьих островах — их было шесть — масса медведей, лисиц, волков. Над нами летели стаи уток, гусей, лебедей. На одном острове мы нашли остатки человеческого жилья, пещеры, украшенные рогами оленей, с людскими скелетами, но, к удивлению, все без головы и, наконец, масса костей мамонтов».

Второе путешествие Врангеля в Ледовитом океане сопровождал купец мамонтовых бивней — Бережной, ехавший с ними из Нижне-Колымска на свои средства. Весной, после обнажения берегов рек и в мхах тундры, особенно легко было добывать клыки и кости. На краю ручья Бережной нашел громадный клык мамонта, весивший около $2^1/_2$ пуда (40 кил.), но, к несчастью, клык так глубоко ушел в лед, что Бережной не мог его достать. Зато нашел еще великолепного качества меньший клык и в одном брошенном селении массу брошенных кусков мамонтовых клыков.

Отсутствие дальнейшей провизии, приближение весны и масса полыней среди пути заставили экспедицию вернуться в Нижне-Колымск, обследовавши 1210 верст берегов Ледовитого океана.

Когда они вернулись в Нижне-Колымск, все население, а с ним и Врангель, охотились на гусей, диких уток и строили лодки и даже делали якоря для будущей экспедиции. От охоты и рыбной ловли зависело пропитание всей будущей зимы. Весна, такая прекрас-

ная повсюду, бывает часто голодным временем в Н.-Колымске, и Врангель мечтает, чтобы правительство устроило местные склады муки и пр. провианта, необходимого голодающему населению.

У Врангеля разыгрался ревматизм, полученный на Ледовитом океане.

«Лето 1822 года», — пишет он, — «я посвятил изучению прибрежья от устья Колымы до Бараниего мыса.

По возвращении, чем дальше мы подвигались на юг, тем оживленнее делалась природа: леса лиственницы с полянами цветов, крупной малины, дикого лука, такого необходимого для приправы однообразной пищи.

На берегу небольшой речки мы нашли красную яшму, очень красивого тона сердолик и зеленый порфир.

Мы въезжали в долину, известную своими многочисленными оленями. Однажды мы увидели два огромных стада оленей, шедших от берегов океана на юг. Они шли стройными рядами; их бесчисленные рога напоминали движущийся лес. Впереди шли самки, по словам гида. Сзади шел волк, ожидая слабого, отставшего оленя. При виде нас, они умчались в горы. Сзади другого стада шел большой черный медведь, без всяких поползновений к мародерству. Медведь откапывал лапами норки полевых мышей и лакомился ими с видимым удовольствием».

«По дороге встретили поселение чукчей. Многие юрты, старые, брошенные с костями оленей, с посудой, базальтовую лампу, которую я сохранил.

Юрты чукчей — конические, покрытые оленьими шкурами; внутри, день и ночь, горит глиняная чаша с китовым жиром и с зажженными фитилями из мха, согревает юрту даже в 30° мороза.

Я влез как-то через маленькое отверстие, затянутое оленьими шкурами, на четвереньках и был в ужасе

от спертого, теплого воздуха. Чухотки смеялись над моей неловкостью и угостили оленьем мясом и китовым жиром. Их язык, горловой и носовой, похож на крик оленя и дикого гуся. Их забавы — бег на оленях. Победители получают прекрасную шубу из котика и бивни моржа».

«Наше третье путешествие по Ледовитому океану» — пишет Врангель, — «началось 13 марта 1822 г. Мы направились прямо на мыс Шелагинск, с которого надеялись увидеть предполагаемую землю. Я с Матюшкиным, Козьминым, матросом Нехорошевым и гидом, знающим чукотский язык, пустились в путь!

В одной версте от берега, в Ледовитом океане, начались огромные торосы льда, о которые разбились две наши нарты. Глубокий, в 4 аршина, снег очень утомлял собак, но мы убили белого медведя, мясо которого очень их подкрепило. Медведей кругом было так много, что один проникнул в наш лагерь и был убит, но ранил трех наших лучших собак. Несмотря на метель, я записывал свои наблюдения».

Матюшкин, посланный на разведку пути по Ледовитому океану, нашел ледяное поле, и экспедиция тотчас же пустилась по нему в путь. Глаза наши воспалялись от блестящего снега, путешественникам мерещилась «наша земля» на горизонте: мираж Ледовитого океана!

Наступила Пасха, которую мы встретили среди ослепительной снежной пустыни, 2 апреля и все же ее праздновали: была роздана двойная порция мяса, 2 стакана водки нашим гидам. Сравнительная чистота воздуха и тишина соответствовали нашему веселью. Наши гиды пели, танцевали, стреляли в цель, кто из лука, кто из ружья. Кругом грелись на солнышке тюлени . . . Но при нашем приближении ныряли в проруби, лед которых был в полтора аршина толщиною. У нас не было

топлива и мы должны были питаться сушеной рыбой и, вместо горячего чая, есть снег, и все решили ехать к Шелагинскому мысу и 22 апреля, наконец, увидели его черные острые скалы. Я определил наше положение: мы были на океане в 90 верстах от земли. Везде следы медведей, полярных лисиц — песцов и масса диких уток. Мы были уже 46 дней, не имея огня, чтобы согреться. Матюшкин и Козьмин очень нам помогали своей бодростью».

4 мая экспедиция встретила тунгусов, умиравших с голода. Вид их был ужасен, и Врангель отдал им всю еду, что у них осталась, а 6 мая вернулись в Н.-Колымск, после 57 дневного путешествия, проехавши 1436 верст.

«Мы нашли этой весной наш поселок пустым: население ушло на охоту и рыбную ловлю в леса и тундру. Оставшаяся старая женщина и инвалид-солдат угостили нас на славу!»

Началось наводнение, и, предвидя его, жители сложили все свое имущество на крышу, экспедиция сделала то же самое. «Конечно, когда мы вошли обратно в дом, — он был ужасно сырой».

У нас в Ялте сохранился огромный медный самовар нашего адмирала, которим он, вероятно, отогревал свою комнату . . .

Зима 1822-23 года была сравнительно мягкая. «Я сидел в моей комнате с ледяными окнами и горячим огнем, приводя в порядок мои заметки. Прекрасная ловля рыбы была приготовлена для дальнейшего моего последнего 4-го путешествия, и Н.-Колымск превратился в большую мастерскую . . . 8 марта мы уже достигли мыса Шелагинского, где мы встретили старого низкорослого чукчу, подошедшего ко мне и объявившего, что он «Камакау» — глава местных чукчей. До-

верчиво он поздоровался со мной, взял кусок тюленя и кусок медведины и положил в мои сани. Я пригласил его в мою палатку, угостил его чаем и табаком; он держался очень свободно и, при помощи переводчика, дал мне очень интересные сведения. Все же он допросил меня, с какой целью я забрался к ним и нет ли за мной армии солдат.

Он сказал мне, что чукчи собираются около мыса Шелагинского только в марте месяце для охоты на белых медведей. Дружески попрощавшись, он вернулся к нам на другой день, уже в сопровождении своей жены и детей. Его жена забыла свое русское имя, но перекрестилась по просьбе переводчика. Камакой был доволен и описал мне границы земли чукчей и мыс Шелагинский. Я его спросил: «Нет ли острова в океане?» Он подумал и сказал: «Между Шелагинским и Северным мысами, в хорошие летние дни, видны на севере снежные горы... Прежде оттуда приходили к нам большие стада оленей, но охотники и волки их уничтожили... Я сам гнался за одним стадом, которое исчезло на север к горам, но льды океана помешали мне их преследовать». Что длина их гор большая, как вся земля чукчей и, чтобы доказать, что эта земля обитаема, он сказал, что однажды оттуда был выброшен на берег кит с каменной стрелой в ране...».

Я ему сказал, что если подтвердятся все его указания, русское правительство его наградит. Он сказал: Если так, то попроси Белого Царя мне прислать железный котел и мешок табака». — Я обещал, и он ушел очень довольный»...

*

Окончив свои заметки, Врангель поехал 9 марта на восточный берег соседнего мыса, которому он дал имя

Козьмина, а 13 марта направился прямо на север по океану среди громадных торосов. Вдруг ледяной остров, на котором находилась экспедиция, поднятый волнами и ветром, отделился, и все подумали о гибели, но, к счастью, ветер утих и остров пристал к ледяной равнине. Это неожиданное спасение не помешало экспедиции двигаться далее на север. Трудные, большие полыньи собаки брали со всей своей стремительностью и храбростью, часто бросаясь вплавь, и, вдруг, экскурсанты увидели, по словам Врангеля: «грандиозную картину безбрежного океана, но картину ужасную для нашего дальнейшего путешествия. Таким образом, надежда на открытие острова, существование которого не было более проблематичным, исчезла. Три года наших тяжелых испытаний не привела к острову, в существовании которого я уже не сомневался, и я решил вернуться».

«Мы решили ехать по прямой линии на берег. Один из наших гидов заболел почками, и мы остановились на день в пути. Другой в это время занялся охотой не песцов, пришедших на запах нашей провизии. Огромные горы льда надвигались на нас, пиками мы притаскивали маленькие глыбы к нашей льдине, стараясь установить мосты.

На второй день, море сделалось страшным, и весь воздух наполнился разбивающимися друг об друга ледяными горами. Три часа мы стояли неподвижно среди разбушевавшегося океана, ожидая смерти . . . Инстинкт самосохранения заставил нас броситься на нарты и предоставить нашу судьбу собакам. Через рытвины и полыньи они донесли нас до окованной огромной льдины и спасли нас. Мы очутились в бухте р. Веркона. Недалеко от мыса Шелагинского, мы встретили чукча, который сказал нам, что, на севере от ближайшего мыса Якана, есть большая земля, где живут дикари, питаю-

щиеся снегом; другие — «с этого мыса хорошо видна земля на севере».

Врангель поехал и скоро достиг мыса Якан, миновав «северный».

«Мы были, — пишет Врангель, — около деревни чукчей, они сразу заметили нас, забегали, составили группу, из которой выделили два человека. Когда наш посланный поздоровался с нами и угостил их табаком, все трое сели на лед и стали разговаривать. Один из чукчей, с шапкой вышитой жемчугом и украшенной головой ворона, внушал всеобщее почтение. Его одежда, сшитая из внутренностей кита, была легка и непромокаема. Он говорил нам об острове, где рождаются только женщины из морской волны, и этот остров близок отсюда».

У Врангеля уже не было больше сомнения о существовании острова и он очень точно изобразил его на карте к северу от мыса Якан, со следующей надписью: «Горы видятся с мыса Якана в летнее время...» Это было 8 апреля 1823 г.

«Утром 1 мая моя экспедиция, не имея более провизии, с измученными собаками, у которых до крови были обтерты лапы о соленый лед — некоторых из них положили в нарты, — мы вернулись в Н.-Колымск, после двухмесячного путешествия, сделав 2435 верст. Матюшкин приехал 10 днями раньше, обследовав берег океана».

«Мой возврат в Н.-Колымск означал окончание моих надежд открыть новую землю в Ледовитом океане. Особо счастливые обстоятельства, может быть, и способствовали бы ее открытию. Надо точкой отправления брать мыс Якан...»

«Я получил приказание вернуться в Петербург, хотя я предполагал остаться в Н.-Колымске еще год — два», писал Врангель.

Матюшкин с доктором Кибером вернулись раньше в Иркутск, где приводили в порядок свои заметки о ботанике этих неизвестных стран.

«Я покинул Н.-Колымск только 1 ноября с Козьминым. По дороге я нашел старого знакомого — купца Бережного и с ним отправился в Якутск при 32° морозе».

«1823 г. в Верхоянске климат гораздо мягче, дома — с застеклянненными окнами, изразцовыми печами и обстановкой почти европейской и даже с библиотекой лучших русских писателей».

«Якутск, за 4 года моего отсутствия, застроился и похорошел. В Иркутск я приехал 25 февраля и здесь застрял, лечась местными горячими источниками от ревматизма.

15 августа 1824 года я вернулся в СПБ».

По своем возвращении Врангель был награжден орденом Владимира 4 ст., произведен в адмиралы, назначен губернатором Сев.-Американских колоний, где прожил, приводя в порядок дела, 5 лет. Вернувшись через Мексику в СПБ, был назначен морским министром, затем членом Госуд. Совета и умер в своем имении 74 лет, от разрыва сердца, в 1870 году, оставив после себя несколько книг о своих путешествиях и по гуманному урегулированию законов морского ведомства.

Остров Врангеля долгое время был забыт, пока в 1849 г. английское судно «Геральд» не подошло близко к нему, но, не интересуясь Новой землей, отошло от него. В 1867 г., американец-китобой Лонг при тихой погоде подошел к острову, но занятый китоловлей, тоже не заинтересовался им, хотя нанес его на карту. Посланный на разведки Ланга корабль «Корвин» Соед. Штатов высадился на острове Врангеля и поднял на нем американский флаг. Капитан Берри на пароходе «Род-

жерс» исследовал остров, собрал большие коллекции, но пожар уничтожил пароход «Роджерс», а с ним и все коллекции. И Лонг и Берри хорошо знали о путешествиях Врангеля и оба утвердили навеки его имя.

Делались попытки присвоить остров Канадой, но императ. Россия, а затем и Советы, энергично прекратили эти поползновения.

ОГЛАВЛЕНИЕ

НОВИНКИ НАШЕГО КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА

1.	**Аверченко А.** — Избранное, 178 стр.	$ 2.00
2.	**Альтшуллер Гр.** — Дело Тверитинова, историч. роман,	
	кн. I, 320 стр.	$ 3.25
	кн. II, 293 стр.	$ 3.25
3.	**Вертинский А.** — Песни и стихи (1917-1937), 100 стр.	$ 1.25
4.	**Врангель Л. С., баронеса** — Воспоминания и	
	стародавние времена, 224 стр.	$ 2.50
5.	**Гумилев Н.** — Собрание сочинений, Т. I, 325 стр.	$ 3.50
6.	**Иванов В. и Гершензон М.** — Переписка из	
	двух углов, 62 стр.	$ 1.00
7.	**Петров В. П.** — Китайские рассказы, 58 стр.	$ 0.85
8.	” Албазинцы в Китае, 45 стр.	$ 0.50
9.	” Сага Форта Росс, кн. I	$ 1.85
	” кн. II	$ 1.85
10.	**Робсман В.** — Царство тьмы (рассказы и	
	очерки), 144 стр.	$ 1.50
11.	**Сологуб Ф.** — Одна любовь (стихи), 60 стр.	$ 1.00
12.	**Соловьев В.** — Сергей Горбатов, исторк роман	
	кн. I, 227 стр.	$ 2.25
	кн. II, 227 стр.	$ 2.25
13.	” Вольтерьянец, кн. I, 257 стр.	
	кн. II, 275 стр.	
14.	” Старий дом, кн. I, 254 стр.	$ 2.50
	кн. II, 267 стр.	$ 2.50
15.	**Столетняя годовщина прихода русских эскадр в Америку** —	
	иллюстр. сборник, 82 стр,	$ 1.50
16.	**Терапиано Ю.** — Избранные стихи, 110 стр.	$ 1.25
17.	**Федорова Нина** — Жизнь, роман, кн. I, 204 стр.	$ 2.50
18.	**Филиппов Б. А.** — Кресты и перекрестки	
	рассказы, 158 стр.	$ 1.50
19.	**Шпаковский А.** — На путях жизни и мысли. Стихи	$ 1.00

ПЕЧАТАЮТСЯ

20. **Гумилев Н.** — Сочинения. Том II
21. **Федорова Н.** — Жизнь, роман, кн. II
22. **Соловьев Вс.** — Изгнанник, роман, кн. I
23. **Ульянов Н. И., проф.** — 150-летие со дня занятия русскими войсками Парижа в 1814 году